

НАДЕЖДА РУНОВА

ЦАРИЦА,  
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО

КНИГА 1

ДО МОНАСТЫРЯ  
ДВА ГОДА

Надежда Рунова

**«Царица, которой не было.  
До монастыря два года»**

«Автор»

2026

**Рунова Н.**

«Царица, которой не было. До монастыря два года» / Н. Рунова —  
«Автор», 2026

Василиса Трусова — историк и инструктор экстремальных туров. После падения в горную реку она приходит в себя в Москве 1694 года — в теле Евдокии Лопухиной, первой жены Петра I. Василиса знает, чем должна закончиться эта жизнь: монастырём, разлукой с сыном и трагедией царевича Алексея. Но знание истории не делает прошлое послушным. Живой Пётр совсем не похож на памятник, придворные интриги опаснее учебника, а любое разумное решение может иметь последствия, которых не было ни в одном источнике. Она не собирается «исправлять» Петра. Ей нужно выжить, защитить Алексея и построить то, что сможет работать без неё. Но чем прочнее становится её положение, тем дороже будет цена попытки убрать её из истории.

© Рунова Н., 2026

© Автор, 2026

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| ГЛАВА ПЕРВАЯ. Другой берег        | 5  |
| ГЛАВА ВТОРАЯ. Не тот Пётр         | 11 |
| ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Чужая душа          | 23 |
| ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. Потешное дело    | 36 |
| ГЛАВА ПЯТАЯ. Пятый тост           | 50 |
| ГЛАВА ШЕСТАЯ. Чужие слова         | 65 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 66 |

# **Надежда Рунова**

## **«Царица, которой не было. До монастыря два года»**

### **ГЛАВА ПЕРВАЯ. Другой берег**

— Пётр! К скале! И не оборачивайся!

Голос Василисы Дмитриевны ударился о каменную стену рваным эхом и почти сразу утонул в грохоте реки. Пётр, разумеется, обернулся — именно этого она весь день просила его не делать.

Мокрая тропа едва вмещала одну ногу. Справа поднималась тёмная скала, слева склон резко уходил к реке, кипевшей далеко внизу. После ночного дождя с сосновых ветвей ещё падали тяжёлые капли, а земля под подошвами расползалась, как размокший хлеб. Маршрут считался сложным, но доступным для подготовленной группы — во всяком случае, именно так было написано на сайте. Текст Василиса проверяла лично и теперь с удовольствием встретилась бы с его автором, то есть с собой, и обстоятельно объяснила, насколько слово «доступный» зависит от наличия у туристов здравого смысла.

Их было восемь. Инструктор и двое опытных участников уже скрылись за поворотом, остальные растянулись по тропе, а Василиса замыкала группу и несколько часов следила, чтобы никто не отстал, не полез на мокрые камни и не попытался снять над пропастью видео, способное собрать много просмотров и один некролог. Двухлетнему Пётру с утра уже трижды клялся, что больше не станет рисковать ради красивого кадра. На четвёртый раз остановился у самого края.

— Стой там, где стоишь, — крикнула Василиса, осторожно двигаясь к нему. — Не делай ни шага. Просто прижмись к скале и дождись меня.

— Я понял!

— Если бы понял, я бы сейчас к тебе не ползла.

Он всё-таки попытался повернуться. Камень под правой ногой качнулся, выскользнул из размокшей земли и полетел вниз. Пётр взмахнул руками, плечом ударился о скалу и начал заваливаться к обрыву. Василиса не успела испугаться. За годы работы она усвоила простую вещь: настоящая опасность не оставляет времени на красивые решения. Сначала действует тело, а уже потом мозг начинает перечислять причины, по которым всего этого делать не следовало. Она бросилась вперёд, схватила Петра за лямку рюкзака и всем весом дёрнула к стене. Ткань затрещала. Пётр рухнул на колени и обеими руками вцепился в мокрую землю, зато край тропы под ногами самой Василисы осыпался.

Она качнулась назад. Правая ладонь скользнула по камню и не нашла опоры, левая всё ещё сжимала чужую лямку. Пётр поднял голову; лицо у него стало белым, растерянным и неожиданно детским. — Василиса Дмитриевна, руку!

— Лежи! Не двигайся!

Она попыталась подтянуться, но под ногами уже ничего не было. Камни застучали по склону. Пётр рванулся к ней, вытягивая руку, и Василисе пришлось почти заорать: — Не лезь ко мне! Сам улетишь!

Лямка выскользнула из пальцев. Мир опрокинулся. Небо, сосны и чёрные скалы смешались в стремительном круговороте; Василиса ударилась боком о выступ, отлетела от стены и продолжила падать. Страха почти не было — только одна ясная, до ужаса будничная мысль: мама этого не переживёт. Потом пришла вода. Холод ударил так сильно, что на мгновение

остановил всё: сердце, дыхание, мысли. Река сомкнулась над головой, ударила в уши и потащила в глубину. Василиса открыла глаза. Вокруг стояла мутная зеленоватая темнота; где-то наверху дрожал свет, но течение крутило её, не позволяя понять, где поверхность. Рюкзак быстро набирал воду и тянул вниз.

Она нащупала застёжку на груди, промахнулась и попробовала снова. Пальцы почти не слушались. «Не паникуй. Экономь воздух. Сними рюкзак». Перед тем как начать водить сложные группы, Василиса прошла расширенные курсы первой помощи для туристических инструкторов. Там часами вдавливали очевидные вещи, которые в настоящей опасности внезапно перестают быть очевидными: вода не становится менее смертельной оттого, что человек начинает метаться, а паника не добавляет кислорода.

Застёжка наконец поддалась. Рюкзак исчез в темноте, и Василиса оттолкнулась от камня, рванулась к свету. Лёгкие горели, куртка тянула вниз. Она сделала несколько гребков, увидела над собой белую пену и почти достигла поверхности, когда течение швырнуло её спиной на подводный выступ. Боль прошла тело от затылка до пяток. Из рта вырвался последний воздух. Василиса попыталась ухватиться за скалу, но ладони скользнули, и река снова закрутила её и понесла дальше. Свет над головой стал тусклым и далёким. Перед глазами возникла не тропа и не испуганное лицо Петра. Мама стояла в прихожей, скрестив руки на груди. «Василёк, горы от тебя никуда не убегут. А вот я когда-нибудь поседею окончательно».

Васильком мать называла её с детства. Их цветочек. Прозвище пережило школу, университет и первые попытки Василисы объяснить, что взрослую женщину, которая водит людей по горам, можно хотя бы при клиентах не называть Васильком. Не помогло. Мать, акушер-гинеколог с многолетним стажем, считала профессию дочери тщательно организованной попыткой свернуть себе шею. При этом именно она заставляла Василису повторять первую помощь до тех пор, пока руки не начинали действовать раньше страха. Отец только смеялся и говорил, что любовь к путешествиям дочь взяла от него, а привычку командовать в чрезвычайных ситуациях — исключительно от матери.

Потом Василиса вспомнила Андрея. Пять лет они прожили вместе: покупали посуду, спорили из-за открытого зимой окна, выбирали кольца и каждый год обещали, что после следующего туристического сезона наконец назначат дату свадьбы. Потом выяснилось, что совместную жизнь нельзя бесконечно переносить на более удобное время. Они расстались без измен, скандалов и разбитых тарелок. Наверное, поэтому было особенно больно. Прошёл почти год, Василиса была уверена, что уже отпустила, а теперь Андрей узнает о её смерти из чужого звонка или короткой новости. Эта мысль оказалась невыносимой.

Следом пришёл Петербург: серая Нева, низкое тяжёлое небо, мокрый гранит набережных и золотой шпиль Петропавловской крепости, который умудрялся вспыхнуть даже в самый пасмурный день. Домой бы. Река ещё раз сжала её ледяными руками, а потом исчезла. Первым вернулся запах. Не воды, не мокрой земли и не хвои — воска, дыма, горьких трав, потного тела, несвежего белья и чего-то сладковато-тяжёлого, от чего сразу подкатила тошнота. Василиса попыталась вдохнуть. В горло хлынула тёплая жидкость, она закашлялась и дёрнула головой.

— Не лейте боле, государыня захлебнётся!

— Глотать надобно. Лекарь велел всё дать.

Кто-то крепко удерживал её за плечи. Чужие пальцы попытались разжать ей зубы, край деревянной чаши снова коснулся губ. Василиса на одном рефлексе ударила по руке. Чаша упала, тёмный отвар плеснул на тяжёлое покрывало. Мавра, молодая девушка с полотенцем в руках, отшатнулась, а старшая женщина застыла, не договорив начатую фразу. Василиса открыла глаза.

Ни касок, ни спасательных жилетов, ни фонарей. За женщинами виднелись широкие деревянные лавки и сундуки, на стенах темнели иконы, в углу перед образами горела лампада, а

под потолком висел металлический обруч со свечами. Василиса моргнула несколько раз. Комната не исчезла.

— Где я?

Женщины переглянулись. Мавра торопливо перекрестилась и посмотрела на старшую.

— Аксинья Тимофеевна, может, опять за лекарем послать? Она ведь ничего не помнит.

Аксинья Тимофеевна не ответила сразу. Она продолжала смотреть на Василису пристально и почти сердито, будто ещё решала, хозяйка перед ней или горячка просто перешла в новую стадию.

— Господи, помилуй, — наконец произнесла она и тоже перекрестилась.

— Я спросила, где я. Что это за место?

— В палатах своих, матушка-государыня, — осторожно ответила Мавра. — Где же ещё?

Слова не помогли. Василиса попыталась приподняться на локтях, и тело сразу отозвалось слабостью. Оно было горячим, непривычно тяжёлым; голова раскалывалась, спина болела, но совсем не так, как должна была после падения с многометровой высоты на камни. Она ощупала затылок — ни крови, ни раны, ни даже шишки. Зато рука, поднятая перед глазами, была чужой: тонкая кисть, длинные пальцы, светлая кожа. На правой руке не было серебряного кольца, которое Андрей привёз из их первой совместной поездки и которое Василиса почему-то продолжала носить даже после расставания. Теперь не было ни кольца, ни привычной руки.

— Где мой телефон? Мои вещи, рюкзак? Меня кто-то вытащил из реки?

Мавра попятилась.

— Матушка-государыня, нешто река вам в горячке привиделась? Вы третий день очей не открывали. Лекарь уж и надежды большой не давал.

— Какие ещё три дня? Какая горячка?

Василиса оглядела себя. На ней была длинная белая рубаша с вышивкой у горла, сверху лежало толстое одеяло, а за спиной возвышалась гора подушек. По плечам расплзались чужие волосы. Она схватила прядь и подтянула к глазам — тёмные, почти до пояса. Её собственные заканчивались чуть ниже плеч.

— Принесите зеркало.

— Не след бы ныне, Евдокия Фёдоровна. Три дня в горячке лежали, едва очнулись. Куда вам зеркало?

Имя ударило сильнее ледяной воды.

— Что ты сказала?

Женщина тоже изменилась в лице.

— Прости, матушка-государыня. Не в разуме я, видно...

— Моё имя. Ты назвала моё имя. Повтори.

Аксинья помолчала, потом ответила уже совсем тихо: — Евдокия Фёдоровна.

Где-то за стеной протяжно ударил колокол. Василиса смотрела на свечи, иконы, странную одежду женщин и тёмное дерево стен, пока комната медленно плыла перед глазами. Евдокия Фёдоровна. Имя она знала. Оно намертво сцепилось в памяти с датами, портретами, университетскими лекциями и школьной программой, которую она несколько лет преподавала детям. Евдокия Фёдоровна Лопухина — первая жена Петра Первого, мать царевича Алексея, женщина, которую муж в конце концов заставит уйти в монастырь.

— Нет, — выдохнула Василиса.

— Чего нет, матушка?

Это мог быть розыгрыш, съёмки исторического фильма, последствия удара, кома, длинный сон, который мозг собрал из старых знаний и отцовских рассказов. Любое объяснение было невероятным, но всё равно подходило лучше того, которое постепенно складывалось само. За дверью слышались быстрые детские шаги. Женщины разом отступили от кровати, Аксинья поправила край покрывала, и в комнату вошёл маленький мальчик. Ему было около

четырёх. Светлые волосы выбились из-под маленькой шапочки, лицо казалось бледным и слишком серьёзным для ребёнка, а длинный кафтан — тяжёлым для худого тела. Он остановился у двери и несколько мгновений просто смотрел на женщину в постели, словно боялся подойти ближе. Потом губы задрожали.

— Матушка...

Мальчик сорвался с места, подбежал к кровати и прижался к ней, уткнувшись лицом в покрывало.

— Матушка, ты не помрёшь? Мне сказали, ты очнулась. Нянюшка говорила, Господь милостив будет. Я молился, правда молился.

Руки Василисы поднялись раньше, чем она успела подумать. Тело словно знало этого ребёнка — помнило вес маленькой головы, запах волос, привычку пальцев цепляться за ткань возле живота. Она осторожно погладила мальчика по спине. Он всхлипнул и прижался сильнее. Нужно было сказать что-то нормальное, материнское. Вместо этого Василиса услышала собственный вопрос:

— Как тебя зовут?

Аксинья резко подняла голову, а Мавра перестала теревить край ткани. Мальчик медленно отстранился; сначала на лице появилось недоумение, потом страх.

— Матушка... это я.

Василисе захотелось провалиться куда угодно, лишь бы не видеть этого выражения.

— Я знаю, что ты мой сын, — быстро сказала она, заставляя голос звучать мягче. — После болезни память путается. Скажи мне имя, хорошо?

Мальчик неуверенно взглянул на Аксинью. Та едва заметно кивнула.

— Алексей. Алексей Петрович.

Василиса закрыла глаза. Царевич Алексей Петрович родился восемнадцатого февраля 1690 года. Если ему недавно исполнилось четыре, значит, сейчас февраль 1694-го. Она заставила себя снова посмотреть на ребёнка. Перед ней был не портрет и не фамилия в генеалогической таблице, не строчка, которую школьники лениво переписывают перед контрольной. Живой, тёплый, испуганный мальчик с мокрыми от слёз ресницами. Тот самый Алексей Петрович, которого когда-нибудь будут допрашивать по делу о государственной измене при участии собственного отца и который умрёт в Петропавловской крепости — в городе, которого сейчас ещё не существует. К горлу подкатила тошнота.

— Государыня, вам худо? — Аксинья шагнула ближе.

— Царевича лучше увести, — тихо сказала другая женщина. — Матушка ещё слаба.

Алексей мгновенно вцепился в покрывало.

— Не пойду. Я тихо буду.

— Пусть останется, — сказала Василиса быстрее, чем успела подумать.

Собственный голос по-прежнему звучал непривычно — ниже и мягче, чем раньше. Она подвинулась и посадила мальчика рядом. Алексей тут же прижался к ней всем телом, без сомнений и той осторожности, с которой дети подходят к чужому взрослому. Так прижимаются к матери, с которой прожили всю короткую жизнь и у которой привыкли искать защиту. Он обнимал свою мать. А отвечала ему совершенно другая женщина. Василиса не знала, что произошло с настоящей Евдокией: исчезла ли та, умерла, осталась где-то внутри или всё происходящее вообще существовало только в повреждённом мозгу. И уж точно не знала, имела ли право принимать это детское доверие как своё. Но оттолкнуть ребёнка сейчас было бы ещё хуже.

Она крепче обняла его и посмотрела поверх светлой макушки на служанок.

— После сильной горячки память может путаться. Я хочу понять, сколько именно потеряла. Вы сказали, что я три дня не приходила в себя?

— Третий день пошёл, матушка-государыня. Вчера вовсе худо было, — ответила Акси-  
нья.

— А какой сейчас месяц?

Женщина снова перекрестилась. Василиса постаралась улыбнуться. — Не смотрите на  
меня так. Я разум свой проверяю. Лекарь ведь говорил, что после горячки человек может не  
сразу всё вспомнить?

Объяснение оказалось достаточно правдоподобным, чтобы напряжение немного спало.

— Февраль на исходе, матушка.

— А год?

Женщины опять переглянулись.

— Лета семь тысяч двести второго от сотворения мира.

Василиса умела переводить даты. Когда-то на первом курсе она ненавидела подобные  
задания, потом привыкла настолько, что считала почти автоматически. Семь тысяч двести вто-  
рой. Минус пять тысяч пятьсот восемь. 1694 год. На несколько секунд она позволила себе  
перестать быть историком, инструктором и взрослой разумной женщиной, которой полагается  
собраться и искать решение. Просто сидела в чужом теле, обнимая ребёнка, которого никогда  
прежде не видела, и понимала, чего больше нет: мамы, отца, Андрея, знакомых улиц, Петер-  
бурга. Даже самой Василисы Трусовой в этом мире ещё не должно было существовать.

Мысль была слишком огромной, чтобы смотреть на неё целиком. Пришлось спрятаться в  
историю — история хотя бы имела даты. Петру сейчас двадцать один. До Азовских походов ещё  
больше года, Великое посольство и Северная война впереди. Санкт-Петербурга не существует:  
на берегах Невы нет ни крепости, ни дворцов, ни гранитных набережных, ни дома, в котором  
через три века мать впервые назовёт новорождённую Василису Васильком. Иван Алексеевич  
ещё жив, значит, Россия формально находится под властью двух царей. У старшего государя  
свой двор, жена — царица Прасковья Фёдоровна, маленькие дочери, родня, служилые люди.  
Это было важно. Пётр здесь ещё не единственная власть, а Евдокия — не единственная царица.

И всё же впереди у неё был монастырь. Историческую Евдокию отправят туда в 1698  
году. Чуть больше четырёх лет — не так мало для обычной жизни и ужасающе мало, если  
нужно понять чужой век, чужую семью и убедить будущего Петра Великого не избавиться от  
собственной жены самым удобным способом.

— Где сейчас государь? — спросила Василиса.

Аксинья чуть заметно напряглась.

— В Преображенском. С потешными своими. Дел у него много, велено без крайней  
нужды не тревожить.

Василиса едва не усмехнулась. Жена три дня лежит без сознания в горячке, а будущий  
первый российский император занят полками, оружием, кораблями и великими замыслами.  
Пока история выглядела довольно узнаваемо.

— К нему посылали сказать, что мне плохо?

— Посылали, матушка. И вчера, и прежде.

— Что он ответил?

Никто не заговорил. Мавра опустила голову, Аксинья занялась краем покрывала с наро-  
читой тщательностью. Ответ оказался понятен и без слов. Алексей пошевелился рядом с ней.

— Матушка... батюшка придёт?

Он спросил очень тихо, и вот здесь учебник окончательно перестал помогать. Василиса  
знала основные даты правления Петра, войны, реформы, строительство Петербурга, стрелец-  
кие казни, Великое посольство и дело царевича Алексея. Знала, чем закончился этот брак и  
насколько легко в учебнике звучит фраза о том, что царицу постригли в монахини. Но ни одна  
лекция не объясняла, что делать, когда история перестаёт быть текстом и становится комна-  
той, где пахнет воском, потом и горькими травами. Как разговаривать с человеком, который

в её памяти одновременно изменил страну и погубил собственного сына. Как жить рядом с мужчиной, которого она раньше видела только на портретах, в документах и памятниках.

В своей жизни Василиса не была наивной девочкой. Пять лет прожила с мужчиной, умела любить, ссориться, мириться и признавать, что иногда отношения уже невозможно спасти. Но Пётр Алексеевич не был Андреем. От Андрея можно было уйти, снять квартиру и несколько месяцев делить купленные вместе вещи. От царя семнадцатого века так не уходили. Алексей всё ещё ждал ответа. Василиса провела ладонью по его волосам.

— Придёт. Может быть, не сегодня, может быть, позже. У него много дел, и, похоже, он считает их очень важными.

— Важнее тебя?

Аксинья перестала поправлять покрывало и внимательно вслушалась в её ответ.

— Не знаю, Алёша. У взрослых иногда очень странные представления о том, что важнее.

— Я ещё помолюсь.

— Помолись, если тебе от этого спокойнее.

Он немного подумал и спросил: — А ты будешь ждать батюшку?

Вот теперь вопрос действительно был хорош. Историческая Евдокия ждала, просила, пыталась вернуть мужа и цеплялась за прежнюю жизнь до тех пор, пока сама эта попытка не стала для Петра ещё одной причиной от неё избавиться. Василиса посмотрела на ребёнка.

— Мы не станем только сидеть и ждать. Сначала мне нужно выздороветь, потом разобраться со всем остальным. А батюшка, когда захочет, дорогу сюда знает.

Аксинья Тимофеевна едва заметно подобралась. Василиса поняла, что сказала что-то совсем не в духе прежней хозяйки тела. Придётся осторожнее. Задач и без того было слишком много: не выдать себя первым же разговором, понять, кому в этом доме можно доверять и кто уже успел сообщить Петру о странностях больной жены, выяснить, сохранилось ли в теле Евдокии что-нибудь, кроме привычек мышц и способности узнавать собственного ребёнка, и подготовиться к встрече с Петром Алексеевичем. Не с памятником на вздыбленном коне и не с великим реформатором из школьного параграфа. С живым двадцатиоднолетним мужчиной, которому собственная жена, судя по всему, уже была интересна значительно меньше потешных полков.

Утром Василиса сорвалась в реку, спасая одного Петра. Теперь ей предстояло прожить рядом с другим. Она понятия не имела, сумеет ли изменить собственную судьбу, спасти маленького мальчика, который доверчиво прижимался к её боку, и пережить хотя бы неделю, не выдав себя неверным словом или слишком современным поступком. Но в одном сомнений не было. Через четыре года Евдокию Фёдоровну Лопухину должны были отправить в монастырь. Василиса туда не собиралась.

## ГЛАВА ВТОРАЯ. Не тот Пётр

Когда Алексея увели, Василиса впервые осталась без ребёнка на руках. Тишины это не принесло: в печи потрескивали дрова, за стеной ходили люди, где-то дальше звякнула посуда. У кровати стояла Акси́нья Тимофеевна Самохвалова — верховая боярыня царицы и старшая над женской половиной её двора. Свою должность она назвала только после прямого вопроса. До этого смотрела на Василису так, будто сама решала, имеет ли государыня право знать, кто распоряжается её людьми, ключами и гонцами.

— Значит, ты при мне с самой свадьбы?

— С той поры, матушка-государыня.

— Больше пяти лет.

— Шестой год пошёл.

Акси́нья сложила руки на животе. Пальцы у неё были узкие, сухие, с потемневшими от времени суставами. Стояла она спокойно, но не расслабленно — так стоит человек возле двери, которую обязан охранять, даже если пока не понимает, от кого.

— Тогда ты лучше других знаешь, какой я была до болезни.

— Государыня всегда государыня.

— Красивый ответ. И совершенно бесполезный.

Уголок рта Акси́ньи едва заметно дрогнул.

— Другого безопаснее не давать.

Василиса посмотрела на неё внимательнее. Перед ней была не перепуганная служанка, а женщина, прожившая много лет при дворе, где неверно сказанное слово могло добраться до нужного человека быстрее гонца. Акси́нья не только отвечала — она проверяла новую хозяйку так же пристально, как новая хозяйка проверяла её.

— Я спросила сына, как его зовут. Ты видела.

— Видела.

— И после этого всё ещё считаешь, что я осталась прежней?

Акси́нья разгладила складку на покрывале, которой почти не было. — После горячки люди и родную мать не признают. Потом разум возвращается.

— А если не возвращается?

— Тогда Господь и лекарь решают, что делать.

— Лекарь уже дважды выпустил из меня кровь. Боюсь, его решение мне не понравится.

На этот раз Акси́нья всё-таки почти улыбнулась. — Спорить вы не разучились.

— Что ещё я не любила? Еду, людей, запахи — что-нибудь простое, на чём можно проверить память.

Акси́нья ответила без колебаний.

— Не стану.

— Почему?

— Потому что коли память ваша и вправду потерялась, я сама могу вложить в неё что пожелаю. Скажу ныне, что квасу не терпели, а завтра вы каждый кувшин от себя оттолкнёте. И кто после разберёт, вспомнили вы или мне поверили?

Ответ Василисе не понравился. Именно поэтому понравилась сама Акси́нья: использовать слабость хозяйки она не спешила. По крайней мере, пока.

— Значит, будешь меня испытывать?

— Не мне государыню испытывать.

— Только наблюдать?

— На то глаза даны.

— И докладывать государю?

Теперь Акси́нья помолчала дольше и машинально проверила, плотно ли закрыта дверь.  
— Коли спросит о здоровье, отвечу о здоровье.

— А если спросит о разуме?

— Отвечу осторожно.

— В мою пользу?

— В пользу той правды, которую сумею понять.

Это было больше, чем Василиса ожидала. Она откинулась на подушки и закрыла глаза. Голова немедленно напомнила, что тело провело три дня в горячке, дважды лишилось крови и теперь не желало участвовать в дворцовых переговорах.

— Больше кровь не пускать.

— Лекарь велел завтра ещё раз поглядеть.

— Пусть глядит. Руками, глазами, молится, если ему так спокойнее. Но с ножом ко мне не подходить.

— Государи́не виднее.

По голосу Акси́ньи было ясно: государи́не сейчас не было видно даже противоположной стены. Василиса открыла глаза и только теперь по-настоящему почувствовала комнату. Оконные створки были плотно закрыты, в натопленном помещении горели свечи и лампы, воздух казался густым, словно его уже несколько дней использовали одни и те же люди.

— Окно приоткройте.

Мавра так и осталась у окна с полотенцем в руках, не решаясь распахнуть створку без подтверждения старшей.

— На дворе мороз, матушка.

— Февраль я уже заметила. Открой ненадолго,пусти воздух и снова прикрой. Здесь я раньше задохнусь, чем простыну.

— Ночью тогда натопим сильнее, — сказала Акси́нья.

Это было не согласие, а спокойное сообщение о цене, которую двор заплатит за очередную странность государи́ни. Мавра подошла к окну. Створка не поддавалась, будто её заколотили вместе со всей эпохой. Девушка навалилась плечом, и в комнату ворвался ледяной воздух. Пламя свечей качнулось; запахло дымом, снегом, лошадьми и большой Москвой, которой Василиса ещё не видела. Холод обжёг лёгкие, зато впервые после пробуждения стало легче думать.

— Постельное сменить, рубаху тоже. Воду для питья вскипятить, остудить и держать накрытой.

Мавра застыла у окна.

— Воду-то?

— Воду.

— Из колодца?

— Откуда же ещё?

— Да она чистая, матушка! Мы сами утром брали: ведро новое, верёвка сухая, ни листа, ни сора.

— Всё равно вскипятить.

Девушка посмотрела так, словно государи́ня приказала сварить весь колодец.

— Так вкус иной будет.

— Переживу.

Мавра замерла с кувшином в руках, явно надеясь, что Акси́нья остановит государи́ню.

— Исполни, — распорядилась та. — А лекарю скажем, что государи́не ныне вода мягче надобна.

Мавра поклонилась, но уже у двери всё-таки пробормотала: — Вода и без того мягкая.

— Мавра.

— Молчу, Акси́нья Тимофеевна.

Девушка исчезла. Василиса усмехнулась. — Она всегда так говорит?

— Только когда боится.

— А когда не боится?

— Говорит больше.

Пока женщины меняли бельё, Василисе впервые пришлось внимательно рассмотреть новое тело. Оно принадлежало молодой женщине, но прожило больше, чем показывал возраст: мягкий живот пересекали серебристые полосы, грудь была тяжелее, бёдра шире, чем у прежней Василисы. Это тело рожало — не один раз. У Евдокии было трое сыновей. До четырёх лет дожил только Алексей. Историческое знание сначала возникло привычно и почти безлично, как строчка из справочника, а потом вдруг превратилось в три беременности, три родовые боли, три младенческих голоса и две маленькие могилы. Василиса прикрывала живот ладонью. Ничего не вспомнила — ни лиц, ни имён. Тело хранило следы, но не отдавало ей жизнь женщины, которой принадлежало.

— Зеркало всё-таки принесите.

Акси́нья спорить не стала, только велела поставить свечу ближе. Мавра вернулась с небольшим металлическим зеркалом в резной оправе. Отполированная поверхность отражала хуже современного дешёвого стекла: лицо плыло, края распадались в тусклом свете. Василиса долго не решалась поднять зеркало. Потом посмотрела. На неё глядела незнакомая женщина двадцати четырёх лет: бледная после болезни, с тёмными глазами и широкими скулами, потрескавшимися губами и тенями под глазами. Спутанные волосы закрывали половину лица. Не музейный портрет и не «нелюбимая царица» из учебника — живая женщина, которую муж почти перестал замечать. Василиса коснулась щеки. Отражение повторило движение.

— Я была красивой?

Мавра чуть не уронила кувшин. Акси́нья ответила не сразу: — Государь прежде от вас глаз отвести не мог.

Прежде. В одном слове поместился весь брак.

— А потом научился?

— Государь делами занят.

— Дела, должно быть, требуют особенно тщательно не смотреть на жену.

Акси́нья переставила чашу на стол чуть резче, чем было нужно.

— После горячки язык у вас стал острее.

— Был тупым?

— Был осторожнее.

Василиса отдала зеркало.

— Принеси мои письма. От государя.

У резного ларца Акси́нья задержалась. На её поясе висела связка ключей; несколько она перебрала на ощупь и только потом выбрала нужный. Василиса следила за этими уверенными движениями и окончательно поняла: перед ней не просто старшая служанка. Акси́нья управляла внутренним двором, знала, какой ключ от какого ларца, кто отправил гонца и какие слова можно повторить вслух. Василисе требовалась не преданная прислуга — ей требовалась именно эта женщина. Но доверять ей было рано. В ларце лежали бумаги, ленты, мешочки с украшениями, несколько маленьких коробок. Акси́нья достала письма, перевязанные выцветшим голубым шнуром. Василиса развернула первый лист.

Старая скоропись должна была оказаться почти непроницаемой. В университете она разбирала подобные тексты медленно, со словарём и раздражением человека, подозревающего писцов семнадцатого века в личной мести будущим историкам. Теперь буквы складывались легче. Некоторые слова всё ещё приходилось угадывать, но глаза узнавали соединения,

а пальцы сами держали бумагу так, чтобы не повредить край. Тело Евдокии умело читать эти письма.

В первом Пётр спрашивал о здоровье жены, обещал скоро вернуться и подписывался Петрушкой. Василиса несколько секунд смотрела на имя. Не Пётр Великий, не преобразователь России — молодой муж, торопливо писавший домой. Во втором письме он жаловался на дурную погоду и уверял, что скучает, в третьем просил передать поклон маленькому Алексею. Слова не были особенно нежными, но между строк чувствовалась привычка друг к другу, общая речь двоих людей и обещания, которые когда-то казались возможными. Василиса нашла черновик ответа. Внизу стояло: «Дунька твоя».

— Я так подписывалась?

— Когда меж вами лад был.

— А когда он закончился?

— Лад не чаша, матушка. Не всегда видно, в какой миг треснул.

Василиса провела большим пальцем по краю письма. Пять лет с Андреем научили её тому же: браки редко рушатся в один день. Сначала люди перестают рассказывать друг другу мелочи, потом привыкают откладывать разговоры, а однажды обнаруживают, что важные решения давно принимают отдельно. Она собрала письма и начала перевязывать шнуром. Пальцы сами сложили петлю, дважды обвили шнур вокруг свёртка и затянули плоский узел. Акси́нья тут же посмотрела на её руки.

— Что?

— Ничего, матушка.

— Ты опять наблюдаешь.

— Узел ваш.

— Мой?

— Всегда так письма вязали. Никто иной во дворце такого узла не делает.

Она посмотрела на шнур. Василиса не знала, как его завязала; руки сделали всё без неё. Значит, в теле Евдокии оставалось что-то ещё — память мышц, привычки, следы жизни, к которой сознание не имело доступа.

— Когда государь был здесь в последний раз?

Акси́нья отвернулась к ларцу. — Недавно.

— Это не дата.

— Государыня Наталья Кирилловна преставилась. Не время ныне старое тревожить.

— Для тебя оно старое. Для меня всё впервые. Расскажи.

Акси́нья закрыла ларец, но ключ не вынула. Несколько мгновений держалась за него, словно металл помогал удержать слова.

— На погребении государя не было. Вечером приехал, к гробу матушки своей прошёл отдельно. Вы с царевичем ждали в соседних палатах.

— Зачем?

— Хотели сказать, что горе вместе переживать надобно.

— А он?

— Прошёл мимо.

Василиса представила это слишком легко.

— И я позволила?

Акси́нья на миг замедлила движение рук.

— Нет. За рукав его взялись.

— Сильно?

— Двумя пальцами. Будто ткань боялись помять.

Картина стала почти зримой: молодая Евдокия в полутёмном переходе, рядом маленький Алексей; Пётр пахнет морозом и воском, а она держит край его рукава двумя пальцами, словно надеется, что этого хватит, чтобы остановить уходящего человека.

— Он сперва на руку вашу посмотрел, потом в лицо, — продолжила Акси́нья. — Вы просили не оставлять вас с царевичем одних.

Василиса провела пальцем по краю письма.

— Плакала?

— Глаза сухие были.

— Умоляла?

Акси́нья чуть заметно поджала губы, будто само слово ей не понравилось. — Просили.

— Для тебя это разные вещи?

— Для гордой женщины — разные.

Василиса опустила глаза на письма. — Что он ответил?

— Не для больной памяти те слова.

— Я их уже пережила. Просто не помню.

Акси́нья тяжело выдохнула.

— Сказал, покойная матушка одна вас под одной кровлей и держала. А ныне, мол, держать некому.

— И ушёл?

— Рукав высвободил. Не резко. Будто вы не жена ему, а ветка за кафтан зацепилась.

Это было хуже красивой жестокости. В жестокости оставалась хотя бы страсть; здесь было равнодушие.

— А я что сделала?

— Стояли, пока шагов его не стало слышно. Потом царевича мне отдали и велели всем выйти.

— И всё?

Акси́нья медленно вынула ключ из замка.

— Утром велели снова послать к нему.

Вот теперь Василиса поверила. Евдокия не сдалась после одной неудачи — просила, посылала гонцов, пыталась вернуть мужа единственным способом, который знала, и с каждой попыткой становилась для него тяжелее.

— Сегодня гонца кто отправил?

— Я.

— Что передала?

— Что государыня очнулась, памятью слаба, но разум возвращается.

— Только это?

Акси́нья вдруг стала особенно неподвижной. Василиса подождала.

— Акси́нья.

— Передала, что сына не признали, о реке говорили, зеркало потребовали и лекарское питьё выбили.

— Очень заботливое известие.

— Государь подробности спрашивает.

Значит, Пётр получал не просто сообщения о здоровье жены. Он собирал признаки — пока не безумия, но странности.

— Он приедет?

— Не знаю.

— Но ты ждёшь.

— Я велела свечей добавить.

— Значит, ждёшь.

— Верховая боярыня должна быть готова и к государю, и к покойнику. Оба приходят без предупреждения.

У стола звякнула ложка: Мавра уронила её на пол. Акси́нья повернула голову.

— Я ничего не слышала, — быстро сказала девушка.

— Вот и хорошо.

Василиса легла, потому что тело перестало спрашивать её мнение.

— Разбудите, если придёт лекарь.

Акси́нья поправила край одеяла.

— А коли государь?

— Особенно если государь.

Проснулась она от ощущения чужого присутствия. Никто не касался её и не звал. Просто свечей стало больше, Мавра почему-то съёжилась у стены, а Акси́нья стояла возле двери, склонив голову. Рядом с кроватью находился мужчина. Первым Василиса заметила его рост. Он казался слишком высоким для комнаты и слишком живым для портретов, по которым она его знала: худощавый, длинноногий, в тёмном кафтане и забрызганных грязью сапогах, без короны, мантии и всего, что помогало превращать человека в историческую фигуру. От него пахло морозом, лошадью, дымом, железом и смолой.

Пётр снял перчатку и приложил ладонь к её лбу. Движение было быстрым, деловитым — без нежности, но и без отвращения.

— Не горишь.

— Уже нет.

Он убрал руку и сразу осмотрел комнату: приоткрытое окно, свежее бельё, накрытый кувшин, чашу с лекарством, отодвинутую в дальний угол.

— Тут что устроили?

— Проветрили.

— В феврале?

— Февраль от этого не закончился.

Пётр будто впервые решил рассмотреть её всерьёз. Ему был двадцать один год, и лицо ещё не стало тяжёлым, знакомым по поздним портретам. Оно постоянно менялось: настороженность сменялась раздражением, потом внезапным интересом. Даже стоя неподвижно, он успел заметить окно, письма, испуганную Мавру и то, как Акси́нья держит руки. Не красивый государь из парадного портрета. Опасно быстрый молодой мужчина.

— Сказывают, никого не признаёшь.

— Уже лучше.

— Меня узнаёшь?

— Вас трудно спутать.

— С кем?

Василиса не нашла безопасного ответа.

— С другим человеком.

Уголок его рта дёрнулся. Он начал задавать вопросы быстро, почти без пауз, наблюдая не столько за ответами, сколько за тем, как они рождаются.

— Сына как зовут?

— Алексей Петрович.

— Меня?

— Пётр Алексеевич.

— Себя?

— Евдокия Фёдоровна.

Не Василиса Дмитриевна. Пётр подвинул табурет и сел. Резкое движение заставило Мавру вздрогнуть.

— Значит, разум вернулся.

— Не весь. Но для разговора хватит.

— Кто сказал, что будет разговор?

Он потянулся к письмам. Василиса машинально накрыла свёрток рукой; рукав рубахи сполз, она дёрнула ткань вниз и спрятала пальцы в складках. — Что?

Он несколько секунд смотрел на её руку.

— Всё рукава прячешь.

— Разве?

— Когда сердилась, всегда так делала. Потом говорила, что замёрзла.

На его лице впервые появилось не подозрение и не насмешка, а узнавание. На одно короткое мгновение он увидел прежнюю Евдокию — свою Дуню, которая прятала пальцы в рукавах и подписывала письма знакомым узлом. Потом выражение исчезло.

— Зачем звала?

— Я не звала.

Лицо Петра сразу стало жёстче. Акси́нья поклонилась.

— Я велела сообщить, государь. Государыня очнулась, о вас спрашивала...

— Тебя не спрашивал.

Акси́нья замолчала и сцепила пальцы перед собой. Мавра у стены тоже притихла.

— Я спросила, где вы. Она решила, что мужу следует знать о здоровье жены.

— Мужу? — Пётр чуть откинулся назад. — Сына не узнала, а про мужа помнишь.

— О муже мне много рассказали.

— Кто?

— Письма. И Акси́нья рассказала о нашей последней встрече.

Пётр повернул голову к верховой боярыне. Та не подняла глаз. — И чего же тебе рассказали?

— Что после смерти вашей матери вы решили больше не притворяться семьёй.

— Я так сказал?

— Почти.

— Значит, не так.

Небрежность была показной. Пётр явно не желал отвечать за слова, переданные не дословно.

— Вы сказали, что прежде нас под одной кровлей держала Наталья Кирилловна. Теперь держать некому.

— Вот это сказал.

— Смысл сильно отличается?

— Смысл каждый сам себе додумывает.

— Удобно.

Мавра у стены будто перестала дышать. Пётр не улыбнулся.

— Ты для того меня ждала? Старое разбирать?

— Я вас не ждала.

— Не врѣшь?

— Мне сейчас трудно понять, что именно я чувствую. Но сидеть у окна и считать копыта не собиралась.

— Прежде считала.

— Значит, прежде у меня было больше терпения.

— Прежде у тебя слёзы вперѣд языка шли.

Реплика попала точно. Аксиныя едва заметно повернула голову, Мавра опустила глаза. Василиса почувствовала чужой стыд — тот, который мог принадлежать Евдокии, много раз плакавшей перед этим человеком. Она медленно выдохнула.

— Может, слёз больше не осталось.

— За три дня?

— Иногда хватает одного.

Пётр взял свёрток писем, провёл пальцем по голубому шнуру. — Узел сама вязала?

— Похоже.

— Что значит «похоже»?

— Не помню, как начала. Руки сделали сами.

Палец Петра задержался на узле ещё на мгновение.

— Руки многое помнят.

Слова прозвучали двусмысленно — или Василисе только показалось. Пётр положил письма обратно.

— Я могла умереть, — сказала она.

— Не умерла же.

Вот он, живой Пётр: человек, который оценивал случившееся по результату. Жива — значит, беды не произошло.

— Вам повезло.

— Мне?

— Не пришлось объяснять Алексею, почему вы не приехали проститься с его матерью.

Пётр медленно поднялся; челюсть у него напряглась. — Следи за языком, Дуня.

Имя «Дуня» прозвучало как предупреждение, а не как ласка.

— Я пытаюсь.

— Плохо пытаешься.

— После горячки не всё получается сразу.

Он шагнул к двери, и Василиса поняла: сейчас уйдёт. Следующая встреча может случиться через месяц; Пётр вернётся к полкам, кораблям и людям, рядом с которыми не придётся вспоминать неудачный брак. Слёзы его не задержат, обвинения — тоже. Нужно было говорить о том, что существовало для него по-настоящему. Василиса посмотрела на потёртый манжет его кафтана, пятно смолы на рукаве и металлическую пыль возле ногтя.

— У ваших иноземных мастеров есть русские ученики?

Пётр остановился у двери, но не обернулся. — Кто тебе про мастеров сказал?

— О них весь двор говорит.

— Двор говорит, что я с бесами железо варю и корабли по сухой земле пускаю.

— Значит, про мастеров всё-таки говорят.

Он повернулся. В глазах снова появился интерес.

— Продолжай.

— Я хочу понять, чему русские возле них учатся. Не что им велено делать сегодня, а что они смогут делать сами, когда мастер уедет.

Пётр вернулся к табурету, но не сел. Поставил на него сапог и опёрся локтем о колено. — Допустим. Есть у голландца двое русских. Один дерево размечает, другой пилу держит. К килю он обоих не подпускает. Что делать?

Василиса на мгновение увидела слишком знакомую современную схему: незаменимый специалист и помощники, которым годами не дают научиться главному.

— Заставить объяснить работу и проверить, поняли ли.

— Объяснял. Проверял.

— Тогда не хочет делиться умением.

— Первый прошлой неделей разметку поперёк волокон пустил. Второй напился и чуть товарищу ногу не отпилил. Голландец теперь обоих к килю не подпускает. И кто виноват?

Василиса замолчала. Она слишком быстро увидела знакомую схему и назначила виновного. — Хорошо. Тогда я поспешила, — признала она. — Один пример ничего не доказывает. Первого надо учить на меньшей работе, второго наказать и проверить трезвым. Если оба не годятся, искать других.

— Люди у меня на деревьях растут?

— Нет. Поэтому особенно дорого годами держать тех, кто только пилу носит и ничего не понимает.

Пётр снял ногу с табурета.

— Сначала голландца обвинила, потом русских защитила, теперь моё время считаешь.

— Я не разбираюсь в кораблях.

— Это видно.

Щёки у Василисы загорелись. Пётр заметил и, кажется, немного повеселел. — Зато разбираешься, как людей учить?

— Немного.

— Откуда?

Ответ «несколько лет преподавала в школе» уже стоял на языке. Василиса успела остановиться. — За царевичем наблюдала. Мало один раз показать — надо заставить повторить и посмотреть, что именно человек понял.

— Алексей тебе про корабельный киль рассказал?

— Нет. Но дети и взрослые ошибаются похоже: кивают раньше, чем поняли.

Пётр коротко рассмеялся.

— Это правда.

Он прошёлся по комнате, приподнял ткань на кувшине, словно проверяя очередную странность жены, и внезапно спросил: — А ежели мастер нарочно ученика дурнем держит? Чтобы без него не обошлись.

— Тогда это не учитель, а человек, который охраняет своё место.

— И что с ним делать?

— Сначала убедиться, что дело действительно в нём. Дать ученику выполнить небольшую работу без мастера — такую, которую можно переделать, если испортит.

Пётр перестал ходить.

— Образец?

— Именно. Достаточный, чтобы понять, умеет ли человек, но не такой, чтобы одна ошибка погубила всё дело.

Он задумался, потом продолжил проверку: — А ежели ученик умеет, а мастер всё равно не подпускает?

— Значит, вы платите мастеру не только за работу, но и за то, чтобы он оставался незаменимым.

Пётр резко повернулся. Вот теперь она попала — не потому, что знала корабли, а потому, что назвала зависимость, которую он ненавидел. — Кто тебя этому научил?

— Чему именно?

— Так говорить. — Он подошёл ближе. — Ты прежде говорила, чтобы я дома сидел, по слободам не ездил, с мастерами не пил и к кораблям не лез. А ныне считаешь, сколько они мне учеников оставят. Кто с тобой говорил? Лопухины? Куракин? Немцы?

Василиса не отвела глаз, хотя инстинкт советовал хотя бы на один вопрос выбрать безопасную ложь.

— Никто.

— Сама придумала?

— Сама спросила.

Пётр покачал головой и ещё раз оглядел её, словно искал на лице следы чужой подсказки.  
— Вопросы тоже откуда-то берутся.

— После трёх дней без памяти особенно начинаешь ценить дело, которое не умирает вместе с одним человеком.

Она поняла, что сказала лишнее, ещё до того, как выражение Петра изменилось. Он мог услышать не рассуждение об учениках, а намёк на свою смерть, на власть без него, на государство, которое не должно зависеть от одного человека.

— Ты про меня сейчас?

— Про любого мастера.

— Я не мастер?

— Вы государь.

— Это не ответ.

— А я не знаю, что отвечать человеку, который одновременно строит корабли, командует полками и проверяет, помнит ли жена собственное имя.

Несколько секунд Пётр молчал, затем рассмеялся — не ласково, а с азартом человека, обнаружившего в знакомой комнате скрытую дверь. — В Преображенское приедешь.

Василиса не сразу поняла, что это не угроза, а распоряжение.

— Зачем?

— Мастерам всё это скажешь.

— Я ничего не понимаю в их ремесле.

Пётр наконец улыбнулся — нехорошо, почти весело. — Там быстро станет видно. — Что именно?

— Сама ты говоришь или кто слова в тебя вложил. И долго ли твои вопросы проживут возле настоящего дела.

Это было не приглашение, а вызов. Пётр собирался поставить её перед иностранными мастерами, своими людьми и теми, кто давно считал Евдокию помехой, дать заговорить и посмотреть, как быстро она опозорится — или кто выдаст себя, пытаясь помочь.

— Когда?

— Как на ногах устоишь.

— А если не приеду?

— Тогда узнаю ответ без проверки.

Он натянул перчатку и у двери остановился возле Аксины.

— Как встанет, сообщишь. И смотри за ней.

— За здоровьем, государь?

— За всем.

Когда дверь закрылась и шаги удалились, Мавра первой шумно выдохнула: — Господи...

— Мавра, — предупредила Аксиныя.

— Я молчу.

— Уже нет.

Девушка схватила кувшин и исчезла так быстро, будто вода могла защитить её от государственных тайн. Аксиныя проверила ставни и только потом села на край лавки. Впервые за весь день она выглядела усталой.

— Вы понимаете, что произошло?

— Государь велел приехать в Преображенское и собирается проверить, кто меня научил.

— И выставит вас перед своими людьми.

— Это тоже поняла.

— Нет, матушка, не до конца. — Акси́нья потёрла сухие пальцы. — Государь вещи проверяет ударом: железо бьёт, дерево гнёт, канат тянет, пока не увидит слабое место. С людьми так же. Коли ошибётесь, запомнит. Коли окажетесь правы — запомнит ещё крепче.

— Очень утешительно.

— Я вас не утешаю.

— Что бы сделала прежняя Евдокия?

Акси́нья немного подумала.

— Просила бы не ехать. Потом поехала бы, коли государь настоял. Всю дорогу молилась бы, чтобы он скорее соскучился по дому.

— А ты?

— Я бы молилась, чтобы он не соскучился по ссоре.

Василиса улыбнулась, но Акси́нья осталась серьёзной.

— Там будут Лефорты, потешные, немцы, люди государевы. Для них вы жена, которая прежде мешала. Теперь приедете говорить, как им учить и работать.

— Я не собираюсь никого учить.

— Они услышат именно это. Поэтому выбирайте слова осторожнее, чем сегодня.

Василиса устало потёрла висок.

— Сегодня было плохо?

Акси́нья не ответила сразу. Она явно решала, насколько прямо можно говорить с человеком, который всё ещё оставался царицей.

— Вы сказали государю, что дело не должно умирать вместе с одним человеком.

— И?

— Смело.

— Это не одно и то же, что плохо.

— При дворе смелых много было. Долго жили не все.

Василиса откинулась на подушки. Слабость вернулась сразу, как только Пётр покинул комнату; руки дрожали, сердце всё ещё билось слишком быстро. Живой Пётр оказался хуже и лучше памятника: моложе, внимательнее, злее — и опаснее именно потому, что умел слушать полезное, не переставая искать скрытую угрозу.

— До поездки узнай всё, что сможешь о Преображенском, — сказала Василиса. — Кто там служит, какие мастера, кто вправе говорить при государе, а кто только делает вид.

Акси́нья как раз перебирала ключи на поясе. На этих словах пальцы задержались на одном из них, но голос остался ровным: — Государь велел смотреть за вами. — Значит, увидит, что я готовлюсь исполнить его приказ. А если спросит, кто помогал?

— Скажу правду.

— Всю?

Василиса сама слышала настороженность в собственном вопросе. На столе лежал голубой шнур — тот самый, который её пальцы завязали без участия памяти.

— Столько, сколько спросит, — решила она.

Акси́нья наконец оставила ключи в покое. — Не прежняя вы, матушка.

В её голосе не было ни обвинения, ни любопытства. Скорее усталое признание того, что обе уже заметили.

— Боишься?

— Да.

Ответ пришёл сразу, и именно поэтому Василиса поверила.

— Тогда почему не уходишь?

На этот вопрос Акси́нья ответила не сразу. Она поправила на лавке сложенное полотенце, хотя оно и без того лежало ровно. — Потому что царевич к вам прижался.

— Он думает, что я его мать.

— Тело ваше, голос ваш, руки ваши. Для него этого пока довольно.

— А для тебя?

Аксинья взялась за спинку лавки, словно собиралась сесть, но передумала и пошла к двери. — Для меня пока довольно того, что вы не дали лекарю выпустить из вас остальную кровь и не велели наказывать Мавру за спор о воде. Остальное посмотрим. А теперь отдыхайте: в Преображенском силы понадобятся.

— Аксинья.

У порога Аксинья обернулась.

— Прежняя Евдокия умела завязывать этот узел. Я не умею. Но руки сделали сами. Что это значит?

Аксинья коснулась пальцем голубого шнура. — Не знаю, матушка. Не всё в человеке одной памятью держится.

Дверь за ней закрылась. На столе остались письма Петрушки и Дуньки. За стенами существовали два царя, несколько дворов, десятки родов и молодой государь, решивший проверить жену так же, как проверял металл и канаты. Победой здесь и не пахло. Пётр не признал в ней союзницу — он заметил, что привычная жена изменилась, и захотел выяснить почему. Что ж. Василиса тоже собиралась посмотреть, как устроен настоящий Пётр Алексеевич. Только теперь знала: если полезть внутрь неосторожно, механизм ударит в ответ.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Чужая душа

На третий день Василиса впервые встала без посторонней помощи. Получилось не особенно величественно: она спустила ноги с высокой постели, нащупала босыми ступнями холодный пол и несколько секунд просто сидела, прислушиваясь к телу. Голова почти не кружилась, сердце больше не билось где-то в горле, руки не начинали дрожать от одного движения. Уже победа. Она осторожно поднялась. Комната тут же качнулась, пришлось схватиться за резной столб кровати.

— Только попробуй упасть, — пробормотала Василиса себе под нос. — Один раз уже попробовала. Ничем хорошим не закончилось.

— С кем вы говорите, матушка?

У двери стояла Мавра с медным тазом в руках.

— С собой.

Девушка не двинулась.

— А зачем?

— Иногда только я готова меня выслушать.

Мавра продолжала смотреть с полной серьёзностью. Шутка не прижилась.

— Воду принесла?

— Принесла, государыня.

Воду действительно вскипятили, остудили и накрыли чистой тканью. От неё слегка пахло дымом, зато на поверхности не плавало ничего, способного иметь собственную родословную. Василиса сделала глоток.

— Нормально.

Мавра просияла так, будто лично отстояла честь государева колодца.

— Я сказывала, чистая.

— После кипячения стала ещё чище.

Улыбка исчезла.

— Разве чистота бывает больше или меньше?

— Бывает.

— Как?

Василиса посмотрела на совершенно серьёзное лицо девушки и поняла, что сама создала себе проблему. — Об этом потом.

— Акси́нья Тимофеевна сказала, коли я спрашиваю, надобно ответ ждать.

— Акси́нья Тимофеевна хочет моей смерти.

Мавра прижала таз к груди.

— Не хочет!

— Тогда пусть запретит тебе задавать вопросы до завтра.

Девушка наконец поняла, что государыня шутит. Или решила, что безопаснее сделать такой вид. Василиса прошла от кровати до окна и обратно. Всего несколько шагов, но после трёх дней горячки они дались тяжелее подъёма по мокрой тропе. Тело Евдокии было моложе её собственного, однако двигалось иначе: спина сама выпрямлялась, подбородок чуть приподнимался, шаг выходил плавнее, чем у женщины, привыкшей к трекинговым ботинкам, рюкзакам и корням под ногами. Даже слабая Евдокия умела идти так, чтобы окружающие расступались. У двери появилась Акси́нья Тимофеевна.

— Матушка-государыня, вам велено лежать.

— Кем?

— Лекарем.

— Тем самым, который дважды выпустил из меня кровь?

— Он человек учёный.

— Я заметила. Особенно хорошо изучил способы оставить больного без сил.

Аксинья вошла, закрыла дверь и только после этого сказала: — Отец Димитрий пришёл. Василиса остановилась. — Мой духовник?

— Ваш.

Одно короткое слово снова разделило две жизни. Евдокия доверяла этому человеку, исповедовалась ему, наверняка рассказывала о муже, страхах, ревности, обиде, надеждах на сына. Василиса не знала даже его лица.

— Давно он при мне?

— Четвёртый год.

— Какой он?

Аксинья поправила на ней рубаху, застегнула верхнюю петлю и лишь затем ответила: — Слышит больше, чем говорит.

— Очень ободряющее описание.

— Другого нет.

— Он предан Лопухиным?

— Богу.

— А после Бога?

Аксинья посмотрела на неё поверх пальцев, занятых завязкой. — После Бога у каждого человек свой. Только вслух об этом лучше не спрашивать.

— Ты его боишься?

— Духовника бояться полезно.

— А доверять?

— Прежняя государыня доверяла.

Снова прежняя. Василиса подошла к зеркалу. Тусклое лицо отражалось в металлической поверхности словно из глубины воды. Волосы заплели и убрали под лёгкий домашний головной убор; бледность уже не была смертельной, но глаза казались слишком большими.

— Оставь нас с ним одних.

— Обычно при первом разговоре после болезни...

— Я сказала, одних.

— Он сам решит.

— Даже так?

— Духовник не дворцовый слуга.

Вот это Василисе понравилось. Человек, который не обязан немедленно повиноваться царице, мог оказаться опасным, но именно поэтому его слова чего-то стоили. Отец Димитрий вошёл через несколько минут. Ему было около сорока пяти: худой, среднего роста, с тёмной бородой, в которой уже появилась первая седина. Ряса простая, почти без украшений, на груди крест, потемневший от частых прикосновений. Он не стал разглядывать Василису исподтишка. Посмотрел прямо и долго, потом поклонился.

— Евдокия Фёдоровна.

Голос был спокойным — не мягким и не суровым.

— Отец Димитрий.

Она произнесла имя осторожно, проверяя, не отзовется ли что-нибудь внутри. Ничего. Священник это заметил.

— Телу полегчало?

— Телу лучше.

— А душе?

— Душе пока сложнее.

Отец Димитрий чуть повернул голову к Аксинье. — Оставьте нас.

Верховая боярыня перекрестилась, поклонилась и вывела Мавру. Дверь закрылась. Священник не спешил начинать разговор: подошёл к иконам, перекрестился, поправил почти догоревшую свечу и только затем сел возле стола. Василиса осталась стоять. Видимо, ей полагалось ждать разрешения. Она выдержала несколько секунд.

— Батюшка, я ещё слаба.

— Так сядьте, государыня.

Ни раздражения, ни извинений. Василиса опустила на лавку напротив. — Три дня вы пребывали между жизнью и смертью, — сказал он. — Что осталось в памяти?

Перед глазами сразу возникли ледяная вода, дрожащий свет над головой, мамин голос и испуганное лицо другого Петра.

— Река.

— Какая?

— Горная. Холодная. Я падала с высоты.

— Прежде бывали в горах?

— Бывала.

Ответ вырвался автоматически. Священник чуть наклонил голову.

— Где?

Вот и первая яма. Василиса сцепила пальцы на коленях.

— Не знаю, как ответить.

— Как умеете.

— Правда может меня погубить.

— Ложь тоже добра не приносит.

— Но обычно действует медленнее.

В глазах отца Димитрия мелькнуло что-то похожее на интерес.

— Прежде вы иначе со мной говорили.

— Знаю.

— Что именно знаете?

— Что стала другой.

— После тяжёлой болезни человек меняется.

— Не настолько.

Священник замолчал. Он не бросился читать молитвы, не позвал свидетелей и не попытался немедленно обнаружить в ней нечистую силу. От этого становилось только тревожнее.

— Иконы узнаете?

Василиса посмотрела в угол. Спаситель, Богородица с Младенцем, Николай Чудотворец. Остальных святых она назвать не могла. — Некоторые.

— Молитву Господню помните?

— Помню.

Она начала произносить знакомый с детства текст. Первые слова дались неуверенно, потом молитва продолжилась сама, но звучала чуть иначе, чем в прежней жизни: старее было произношение, непривычнее движения языка. Словно Евдокия молилась вместе с ней. Отец Димитрий дослушал до конца.

— Креститесь верно.

— Рука сама знает.

— А душа?

Василиса посмотрела на пальцы. — Не знаю.

Священник провёл большим пальцем по краю креста и на несколько секунд замолчал.

— Подобное лучше не говорить где попало.

— Потому и говорю вам.

— Почему мне?

— Аксинья сказала, что Евдокия вам доверяла.

— Вы мне доверяли.

Василиса подняла глаза. — Евдокия вам доверяла.

Тишина изменилась. Отец Димитрий поднялся — не резко, но теперь смотрел на неё иначе. — Кто вы?

У Василисы пересохло во рту. Можно было отступить, сослаться на горячку, спутанную память, больную голову. Наверное, так было бы разумнее. Сказать правду на третий день в чужом веке было почти безумием: достаточно одному человеку решить, что перед ним бесноватая или опасная самозванка, — и никакие знания будущего уже не помогут. Но этот человек четыре года исповедовал прежнюю хозяйку тела; ложь он заметит, даже если правду не поймёт. Продолжать изображать Евдокию перед ним казалось не менее опасным.

— Меня зовут Василиса Дмитриевна Трусова.

Священник медленно перекрестился.

— Крещёное имя?

— Василиса.

— Кто дал?

— Родители.

— Где они?

— В Петербурге.

— Не знаю такого города.

— Его ещё нет.

Отец Димитрий сделал шаг ближе.

— Что значит «ещё»?

— Его построят на Неве. Через несколько лет.

— Кто?

Василиса взглянула на дверь, за которой существовал молодой Пётр, пока ещё занятый Преображенским и потешными полками.

— Государь.

Священник долго смотрел на неё.

— Вы хотите сказать, что пришли из грядущих лет?

— Да. Через триста с лишним лет.

— Каким путём?

— Утонула. По крайней мере, думаю, что утонула.

— И очнулись в теле государыни.

— Да.

Отец Димитрий вернулся к иконам. Некоторое время стоял неподвижно, затем тихо произнёс молитву; Василиса разобрала просьбу вразумить и не дать принять ложь за истину. Потом он снова сел, но чуть в стороне, словно прямой взгляд мешал слушать.

— Расскажите ещё раз. Без догадок. Только что видели и что с вами случилось.

Василиса рассказала о горной группе, о другом Петре, сорвавшемся у края, о падении, воде и пробуждении в чужой комнате. Отец Димитрий ни разу не перебил. Когда она закончила, он ещё долго молчал. За стеной кто-то прошёл по коридору, скрипнула половица, в печи осыпались угли.

— Там, откуда вы пришли, государыня Евдокия уже умерла?

— Давно.

Отец Димитрий кивнул, принимая ответ как факт, и после короткой паузы спросил: — А здесь?

— Не знаю.

— Вы желали ей смерти?

Василиса даже нахмурилась от неожиданности. — Нет. Я не знала её живой. Для меня она была именем из истории.

— Тогда отчего говорите, будто украли её жизнь?

Василиса посмотрела на незнакомые руки. — Потому что живу ею. Алексей обнимает меня и думает, что я его мать. Акси́ня служит мне, потому что видит её лицо. Пётр разговаривает со мной как с женой. Даже тело отвечает раньше, чем я успеваю решить.

— Как отвечает?

— Движениями, привычками. Я завязала письма узлом, которого не знала. Молитву произнесла не так, как привыкла. Когда Алексей вошёл, руки сами поднялись к нему. А прежней памяти нет — ни лиц детей, ни прошлого, ни вас.

Отец Димитрий потёр пальцами край креста. Василиса долго смотрела на него, прежде чем решилась произнести мысль, от которой самой стало холодно.

— Может, её душа погибла из-за меня. Может, осталась здесь и не может говорить. А может... очнулась вместо меня в реке.

Перед глазами возникло собственное тело, бьющееся в ледяной воде, и женщина семнадцатого века, которая не знает ни застёжек рюкзака, ни того, как выбираться из течения. Василиса закрыла рот ладонью.

— Господи...

Отец Димитрий перекрестился.

— Этого мы знать не можем.

— А если она была там? Она бы утонула. Я сама едва...

— Но вы не выбрались, — тихо напомнил он.

Жестокая правда прозвучала без жестокости.

— Что мне теперь делать?

Священник посмотрел на образ Богородицы.

— Жить так, чтобы не умножить зло.

Василиса ожидала чего угодно — молитвы, запрета, хотя бы длинного наставления. Ответ показался почти издевательски простым.

— И это всё?

— Для начала немало.

— Я заняла её место.

— Не по своей воле.

— Но пользуюсь им.

Священник посмотрел на дорогую ткань её рубахи, потом на дверь, за которой ждали люди государыни.

— Уже пользуетесь.

— Значит, виновата?

Отец Димитрий помолчал, подбирая слова. — Не берите на себя грех, которого не выбрали. Но и хозяйкой чужой жизни себя не объявляйте. Не губите сына этой женщины, не позорьте её имя и не распоряжайтесь её прошлым так, будто оно было вашей ошибкой.

Василиса поняла, что он слышал больше, чем она произнесла.

— Вы знаете, какой Евдокия была женой. Она цеплялась за Петра, плакала, пыталась удержать его.

— И вы уже решили, что поступили бы разумнее.

Это не было вопросом. Василиса отвернулась. Именно так она и думала. Прежняя Евдокия не понимала мужа, мешала его делам, просила любви; Василиса станет другой — полезной, спокойной, нужной. Та проиграла, она не проиграет. Удобная и отвратительная конструкция.

— Я не знаю, как она могла поступить иначе, — признала Василиса.

Отец Димитрий чуть смягчился.

— Вот с этого и начните. Не спешите судить тех, о ком знаете только конец. И не ломайте заведённого прежде, чем увидите, на чём оно держится.

— Даже если заведённое неправильно?

— Сначала поймите. Потом решайте.

Василиса упрямо выпрямилась. — Я историк. Я изучала это время.

— По книгам?

— Да.

Священник провёл большим пальцем по краю креста.

— Книги писали люди. И писали после того, как всё случилось.

— Значит, им легче было назвать дорогу, чем тем, кто по ней шёл, — продолжил священник. — Вы помните один путь. Не Божий замысел.

— Но я знаю, чем закончится жизнь Алексея.

Отец Димитрий не стал спрашивать сразу. Несколько секунд только смотрел на неё.

— Он умрёт в крепости, — сказала Василиса. — Его будут допрашивать. Пётр будет участвовать.

Священник закрыл глаза.

— Знаете или помните?

— Для меня это одно.

— Теперь уже нет.

— Почему?

— Потому что вы здесь.

Эта мысль прозвучала почти пугающе просто.

— Значит, всё может измениться?

— Я не пророк. Допускаю лишь, что человек не знает всего.

Отец Димитрий поднялся и подошёл к окну. — Что ещё случится? — Многое.

Он сразу поднял ладонь.

— Не рассказывайте.

— Почему? Вы не хотите предупредить людей?

Священник обернулся.

— Кого именно? Сказать человеку, что через десять лет он умрёт? Что сын предаст отца? Что царь совершит тяжкий грех? Вы уверены, что такое знание спасёт?

— Иногда спасает.

— А иногда человек сам идёт навстречу тому, чего испугался. Смотрите на живых людей, а не только на их будущие могилы.

Василиса опустила глаза. — Пётр ещё не отправил меня в монастырь. Алексею ничего не сделал. Но я знаю, что всё случится.

— Может случиться.

— Вы цепляетесь за слова.

— Потому что словами вы уже выносите суд.

Она встала и подошла к окну. Во дворе женщины вытряхивали половики, слуга тащил корзину дров, дальше кричали погонщики. Кремль жил обычной жизнью, не подозревая, что женщина в царских палатах только что объявила священнику судьбу ещё не построенного города и не выросшего царевича.

— Я не хочу спасти всю Россию, — сказала Василиса. — Хочу не попасть в монастырь, сохранить Алексея и, может быть, сделать несколько вещей лучше.

— Каких?

— Пётр зовёт иностранных мастеров. Но если после них никто не сможет продолжить работу, страна будет зависеть от каждого приехавшего немца или голландца. Я предложила проверить, чему учатся русские.

— И государь согласился?

— Нет. Позвал меня в Преображенское и решил проверить, откуда у жены такие мысли.

— И правильно сделал.

Василиса резко повернулась. Отец Димитрий не смутился.

— Прежняя Евдокия иначе смотрела на его дела. После болезни вдруг говорит о мастерах, учениках и зависимости от иностранцев. На его месте я тоже стал бы смотреть внимательнее.

— Очень поддерживающий разговор.

— Вы пришли ко мне за поддержкой?

— Пока не знаю, зачем пришла.

— И я пока не знаю, зачем вы здесь.

Это прозвучало честнее утешения.

— Вы расскажете Петру?

— Сказанное духовнику не становится дворцовой беседой.

— Но вы не обещали хранить тайну.

— Моего сана вам мало?

— Я вас не знаю.

— И я вас.

Несколько мгновений оба молчали. Ни доверия, ни союза — только тайна, которая теперь принадлежала двоим. — Я жила с мужчиной пять лет. Без венчания, — сказала Василиса.

Отец Димитрий поднял глаза. — Мужем его считали?

— Мы жили как муж и жена. Всё собирались пожениться.

— Перед Богом «собирались» не значит «сочетались».

— В моё время многие так живут.

— Грех от числа людей не меняется.

Ответ был ожидаемым, но Василиса всё равно почувствовала раздражение.

— Мы любили друг друга.

— Не сомневаюсь.

— Сейчас скажете, что любви было недостаточно?

— Скажу, что обязательство всё откладывали.

Слова попали болезненнее, чем она хотела признать. Они с Андреем пять лет выбирали кольца и подходящее время; потом подходящего времени не осталось.

— Мы расстались почти год назад. Я думала, что отпустила. А когда тонула, вспомнила его.

— Хотели вернуться?

— Домой. К родителям. К нему тоже, наверное, хотя мы уже не были вместе.

Отец Димитрий не стал объяснять ей её собственные чувства.

— Исповедоваться желаете?

Василиса невольно усмехнулась. — Разве я уже не исповедовалась?

— Вы рассказали, кто вы и откуда пришли. Исповедь начинается с того, за что человек отвечает сам.

Он подошёл к иконам и надел епитрахиль. Вот тогда Василисе стало по-настоящему страшно — не перед ним, а перед необходимостью разделить две жизни. Какие грехи принадлежали ей? Близость с Андреем была грехом Василисы, но признавать её приходилось губами замужней Евдокии. Обида на Петра — её собственная или доставшаяся вместе с телом? Можно ли каяться в намерении изменить историю, если она ещё не знала, что именно сделает?

— Не знаю, с чего начать.

— С того, в чём не сомневаетесь.

Василиса долго смотрела на образа.

— Я злюсь на Петра.

— За что?

— За то, что он оставил жену умирать. И за то, что сделает потом.

Отец Димитрий не задал нового вопроса. Просто ждал, и тишина вынудила говорить дальше.

— Я боюсь его. Не так, как прежняя Евдокия. Она боялась потерять любовь. Я боюсь потерять свободу, сына и жизнь. И уже думаю, как стать для Петра полезной, чтобы он не смог от меня избавиться.

Отец Димитрий не смягчился.

— Хотите употребить знание против него?

— Хочу выжить.

— Одно другого не исключает.

Василиса почувствовала, как внутри поднимается раздражение: слишком легко было задавать правильные вопросы тому, кому не грозил монастырь.

— Значит, ничего не делать?

— Я этого не говорил.

— Тогда что?

Священник устало провёл ладонью по бороде.

— Делайте то, что считаете нужным. Только помните: государь не вещь, которую можно повернуть удобной стороной. И царевич не стал вашим только потому, что вы знаете его будущую беду.

— Я не хочу им владеть.

— Хорошо, коли так.

Василиса опустила руки. Этот разговор всё время возвращал её к вопросам, которые хотелось отложить хотя бы на неделю. — Вы думаете, власть меня испортит?

— Власть всякого испытывает.

— Я уже видела, как легко приказывать.

Отец Димитрий едва заметно поднял брови. — Понравилось?

Василиса вспомнила открытое окно, вскипячённую воду и женщин, которые немедленно исполнили её волю.

— Да.

— Это и запомните.

Исповедь закончилась не облегчением, а появлением ещё одного груза, который теперь нельзя было притвориться незамеченным. Священник снял епитрахиль и аккуратно сложил.

— Вы станете мне помогать? — спросила Василиса.

— Сохраню сказанное.

— Это не ответ.

— Другого пока не будет. Я не знаю, кто вы и для чего Господь попустил этому случиться.

— Я сама не знаю.

— Потому не торопите меня.

У двери он остановился.

— И ещё одно, государыня. Коли ваши действия станут опасны для царевича, я предупрежу тех, кто сможет вас остановить.

Василиса медленно выпрямилась. — Даже зная, что я хочу его спасти?

— Можно так бояться потерять ребёнка, что не дать ему ни жить, ни дышать.

Он произнёс это буднично, без красивой чеканности, и оттого фраза задела сильнее.

— А если я стану опасна для Петра?

— Государь способен защищаться сам.

— А для веры людей?

Отец Димитрий посмотрел на неё тяжело. — Не объявляйте себя посланницей будущих времён, не обещайте чудес и не заставляйте людей выбирать между вашей пользой и спасением души.

— Вы мне не доверяете.

— Нет.

Честность ударила, но не обидела. Скорее наоборот.

— И всё равно сохраните тайну?

— Я ваш духовник. Это не то же самое, что быть вашим союзником.

Он открыл дверь. Акси́нья стояла сразу за порогом, хотя наверняка утверждала бы, что проходила мимо.

— Государыне нужен покой, — сказал священник.

— А душе? — спросила Акси́нья.

— Душе тоже. Но она покоем пока пользоваться не умеет.

Когда отец Димитрий ушёл, Акси́нья пропустила его мимо и только после закрыла дверь.

— Что сказал?

— Что не выдаст меня. И выступит против, если решит, что я опасна для Алексея или веры людей.

— Ещё лучше.

Василиса устала на неё.

— Почему?

— Человек, который всегда согласен, либо глуп, либо уже продал согласие другому.

— У тебя на всё есть придворное объяснение?

— Почти.

— А обычное человеческое?

— Его при дворе быстро отучают говорить вслух.

Акси́нья помогла ей вернуться к кровати.

— Отдыхайте.

— Некогда. Пётр велел ехать в Преображенское, и я не хочу приехать туда пустой головой. Нужны бумаги о мастерах, учениках, толмачах, жалованье и поставках.

— Узнать и принести государевы бумаги — не одно и то же.

— Я не прошу украсть.

— Хорошо, что уточнили.

— Что можно получить законно?

После недолгого раздумья Акси́нья перечислила расходные книги двора, росписи подвод, копии писем и сведения о том, что отправляли в Преображенское. Списки мастеров были в приказных руках.

— Значит, нужен человек, который понимает, в чьих именно.

Акси́нья задумалась лишь на мгновение.

— Есть один. Роман Хлебников, подьячий при вашем дворе. Молодой, но бумаги понимает.

— Почему я его ещё не видела?

— Пока вы лежали, приходил дважды. Я не пустила.

— Боялась, что услышит лишнее?

— Боялась, что запишет. Подьячие иной раз сами не замечают, как слова у них в строки превращаются.

Василиса представила человека, который способен случайно превратить государственную тайну в аккуратную строку, и решила, что именно такой ей сейчас и нужен.

— Зови.

— Ныне?

— Ныне.

Аксинья поправила край одеяла на кровати, где ещё недавно государыня не могла подняться без помощи.

— Вы едва стоите.

— Сидя бумаги тоже читают.

— Не всегда.

— Аксинья.

— Зову.

Роман Хлебников явился через час. На вид ему было около двадцати пяти: худошавый, русоволосый, с длинным лицом человека, которому с детства объясняли, что занимать лишнее место неприлично. Одет аккуратно, но небогато. Кожаную сумку он прижимал к груди так, будто внутри лежала не бумага, а чья-то голова. У порога Роман поклонился слишком низко.

— Государыня Евдокия Фёдоровна.

— Подойди.

Он сделал два шага и остановился.

— Ещё.

Подьячий послушно сделал третий.

— Я не кусаюсь.

Роман поискал глазами помощи у Аксиньи, но та оставила его один на один с новой прихотью государыни.

— Сказывали, после горячки всякое бывает, — осторожно произнёс он.

— Я передумала. Могу укусить.

Шутка явно не помогла: подьячий воспринял угрозу всерьёз, и Василисе пришлось первой сдаться.

— Это была шутка.

— Да, государыня.

По его лицу было ясно: положение шутка не улучшила.

— Аксинья говорит, ты разбираешься в приказных бумагах.

— Разбираю бумаги вашего двора.

— Только моего?

Роман крепче прижал сумку к боку.

— Что поступает к нам, то разбираю. Чужого без позволения не беру.

— Очень правильный ответ. Давно служишь?

— Третий год.

Василиса заметила, что с каждым безопасным вопросом он дышит немного свободнее.

— Кому подчиняешься?

— Казначее вашего двора. По письмам и расходам.

— Лопухиным?

Роман впервые поднял глаза. В них появилось не только испуганное повиновение. — Государыне.

— Хороший ответ.

— Правдивый.

Василиса указала на стол.

— Покажи, что принёс.

Он достал расходную книгу царицына двора, распись подвод, копии двух памятей о тканях и свечном воске, список людей, ездивших в Преображенское. Сведений о мастерах, учениках и иноземном жалованье среди бумаг не было.

— Где это всё?

— По разным рукам, государыня. Что по полкам — у воинских служителей. Что закупают — у приказных людей и поставщиков. Что сам государь велит — у его двора. Лес в одном месте сыщется, железо в другом, мастера в третьем. Одной бумаги, где всё сведено, нет.

— А где список, кто за что отвечает?

Роман посмотрел так, словно она спросила, где хранится полный перечень московской грязи. — Такого списка не бывает. Всякий знает своё.

— А если не знает?

— Спрашивает старшего.

— А старший?

Подьячий развёл руками. Ответ был понятен. Василиса открыла расходную книгу. Строки читались медленнее писем: много сокращений, имён и сумм, но постепенно проступал смысл — воск, свечи, подводки, мука, ткань, люди, отправленные с поручениями. Роман объяснил, что книга отмечала лишь отправку груза. Имя принявшего записывать не требовалось; если что-нибудь пропадало, отвечал тот, кто вёз. Доказать передачу полностью возчик мог только свидетелями, если догадался их взять.

— Значит, ответственность записана, а доказательства передачи нет?

— Выходит, так.

— Это книга моего двора. Здесь можем писать иначе?

Роман уже потянулся за чистым листом, но остановился. — Коли казначея велит. — А если государыня?

Подьячий замялся, явно предпочитая, чтобы пределы царской власти сейчас объяснял кто-нибудь постарше. — Государыня может велеть казначее, — ответил он наконец.

— Прекрасно. Позови её.

— Матушка, — вмешалась Акси́нья, — к Преображенскому это уже не относится.

Рука Василисы, лежавшая на расходной книге, замерла. Ещё утром она собиралась только подготовиться к одной поездке, а теперь уже мысленно переделывала учёт собственного двора. Отец Димитрий ушёл меньше двух часов назад, и его совет сначала понять заведённый порядок оказался неприятно своевременным.

— Не зови казначею. Пока ничего не меняем.

Роман медленно убрал чистый лист обратно. — Совсем ничего, государыня?

— Сначала разберёмся, как всё работает сейчас. Потом решим, что стоит трогать. А пока составь мне отдельную роспись по Преображенскому — только то, что можем подтвердить.

— А слухи?

— Отдельно. С именем того, кто сообщил, и пометкой, видел ли он это сам.

Теперь Роман задумался уже не как испуганный слуга, а как подьячий, которому предложили знакомый приём для непривычной работы. — Так челобитные проверяют.

— Значит, способ годится не только для челобитных.

Он сам придвинул чернильницу и развернул чистый лист. — Что писать вверху?

Современное «Сведения по объекту» здесь не пережило бы и первой строки.

— «Роспись известным людям и делам в Преображенском». Сначала мастера: имя, откуда приехал, чему обучает.

Роман вывел заголовок и только после этого спросил: — Где всё это взять?

— У тех, кто видел. И отдельно отмечай, чего мы не знаем.

Перо снова зависло над бумагой. — Отсутствие не пишут.

— Почему?

— Потому что его нет.

Василиса не удержалась от улыбки. — Теперь понимаю, почему ты мне нужен.

— Это хорошо?

— Пока да, — первой ответила Акси́нья.

В роспись внесли несколько известных имён, двух толмачей, людей царицына двора, ездивших в Преображенское, и перечень отправленных вещей. Отдельно отметили вопросы без ответов: кого именно обучают мастера, что ученикам позволяют делать самостоятельно и кто решает, готовы ли они работать без наставника.

— Государственные бумаги мне дадут? — спросила Василиса.

— Без памяти государя или его людей — нет.

— Даже если я его жена?

— Особенно тогда.

Аксинья отвернула лицо, скрывая улыбку. — Почему особенно?

— Коли простой человек спросит, ему откажут. Коли государыня спросит, после отказа могут спросить уже с тех, кто отказал. Люди испугаются и принесут либо лишнее, либо подложное.

Это было разумно. Неприятно разумно.

— Значит, завтра попрошу у Петра.

— Лучше спросить, кому он велит показать.

— Почему не потребовать всё сразу?

— Государь может сказать: «Дайте всё». А что такое «всё», каждый поймёт по-своему.

Василиса медленно улыбнулась. — Ты действительно разбираешься в бумагах.

Роман насторожился, не понимая, похвала это или начало нового поручения. Начало.

— Завтра поедешь со мной.

Перо выпало из его пальцев.

— Куда?

— В Преображенское.

Роман застыл так, будто надеялся, что ослышался.

— Мне?

— Тебе. Будешь записывать.

— Государыня, я там не служу. Чужие люди не дадут.

— Тогда запишешь, что не дали.

Подьячий чуть сдвинулся ближе к двери, словно заранее оставляя себе путь к отступлению.

— За такое могут выгнать.

— Отойдёшь и продолжишь писать издалика.

Роман снова попытался найти поддержку у Аксиньи, но верховая боярыня даже не вмешалась.

— Не смотри на меня, — сказала она. — Государыня ныне любит людей с бумагой.

— Я не люблю. Они полезны.

— Для подьячего разница небольшая, — пробормотал Роман.

В дверь постучали. Мавра впустила молодого солдата в зелёном кафтане. Он поклонился и протянул сложенный лист.

— От государя Петра Алексеевича.

Почерк был торопливым, будто Пётр писал на ходу: «Завтра поутру приезжай в Преображенское. Мастеров смотреть станем. Не мешкай. Пётр». Без обращения, пожелания здоровья и объяснений. Он не приглашал жену в свой мир — вызывал на проверку.

— Что пишет? — спросила Аксинья.

— Завтра едем в Преображенское.

Роман начал очень медленно собирать бумаги.

— Мне можно идти?

— Сегодня можно. Завтра вернёшься до рассвета.

— Государыня...

- Чернила возьми. Чистую бумагу. И перья.
- Три.
- Почему три?
- Одно сломается, второе потеряется.
- А третье?
- Отберут.
- Уже учишься.

Когда Роман ушёл, прижимая сумку к груди, Акси́нья проверила, плотно ли он прикрыл дверь.

- Вернётся?
- Куда денется?
- Может заболеть.
- Тогда пошлю лекаря.
- После этого точно вернётся.

Василиса снова прочитала записку Петра. Завтра она увидит Преображенское: мастерские, потешные полки, иностранцев и людей, среди которых Пётр чувствовал себя свободнее, чем рядом с законной женой. Ей предстояло доказать, что она умеет задавать полезные вопросы, и не показать, откуда научилась мыслить иначе. Надёжной опоры не было: духовник не обещал защищать, подьячий боялся каждой лишней строки, Акси́нья всё ещё не решила, прежняя перед ней государыня или чужая женщина с её лицом. Наверное, это было даже к лучшему. Слишком удобный союзник мог оказаться опаснее открытого противника. Василиса положила записку на стол.

- Акси́нья Тимофеевна.
  - Что изволите?
  - Во что мне завтра придётся одеться?
- Верховая боярыня оживилась впервые за весь день.
- В государево Преображенское царице негоже ехать в домашнем.
  - Я уже боюсь.
  - Правильно делаете.

Через несколько минут в палаты внесли тяжёлый сарафан, меховую душегрею, украшения и головной убор, который выглядел так, словно его предназначали одновременно для украшения, наказания и защиты от падающих кирпичей. Василиса посмотрела на всё это и поняла: Преображенское начиналось не с мастеров. Оно начиналось с попытки самостоятельно дойти до двери под весом собственного положения.

## ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. Потешное дело

Василису разбудили затемно. Первую секунду она решила, что снова лежит в палатке и кто-то из туристов собрался встретить рассвет на вершине, не предупредив руководителя группы. Потом почувствовала тяжесть волос на подушке, услышала потрескивание лучины и вспомнила всё сразу: Москва, 1694 год, Евдокия Фёдоровна, Пётр. Над кроватью склонилась Мавра.

— Матушка-государыня, вставать пора.

— Уже утро?

— До заутрени недолго.

За окном стояла густая темнота, по стеклу ползли ледяные узоры, из щелей тянуло холодом.

— В моё время это называлось ночью.

Мавра привычно сделала вид, что очередную странность государыни не услышала. В комнате уже суетились женщины. На лавке лежала одежда для поездки: рубахи, тёплый сарафан, душегрея, шуба, платки и высокая меховая шапка. Василиса посмотрела на всё это с тоской.

— Если на мне будет ещё хоть один слой, я до саней не дойду.

Мавра поправила мех на её плече и деловито проверила застёжку.

— Дойдёте, матушка. Мы поможем.

— Очень обнадёживает.

Одевали её почти час. Сначала Василиса пыталась запомнить порядок, потом поняла, что женская одежда семнадцатого века устроена по принципу оборонительного сооружения: каждый новый слой защищал от холода, посторонних взглядов и возможности самостоятельно покинуть помещение. Когда женщины закончили, она чувствовала себя матрёшкой, внутри которой по недоразумению заперли живого человека.

— Я смогу в этом сидеть?

— Сможете, — уверенно ответила Аксинья.

— Ходить?

Мавра задумалась.

— Ежели медленно.

— А убегать?

Обе женщины посмотрели на неё.

— От кого? — спросила Аксинья.

— Надеюсь, ни от кого.

После разговоров с Петром и отцом Димитрием надежда казалась чрезмерно смелой. Аксинья обошла её кругом, поправила складку сарафана, подтянула пояс и отступила, оценивая результат.

— Теперь государыня готова.

— Государыня уже устала.

— Это тоже как положено.

Перед выходом Василиса подошла к иконам. Тело само подсказало движения; она перекрестилась, поклонилась и попыталась подобрать слова. Просить успеха было неловко: она не знала, кто и зачем перенёс её сюда, и не была уверена, что имеет право менять чужую жизнь. Поэтому попросила о более скромном. Не дать сегодня сделать глупость. Потом вспомнила, к кому едет, и мысленно добавила: и помочь пережить чужие. Алексей ждал возле лестницы. Мальчика укутали так плотно, что из мехов выглядывали только глаза и кончик носа; в руке он сжимал деревянную лошадку.

— Матушка, ты к батюшке?

— К нему.

— Возьми меня.

Слова прозвучали быстро, словно он повторял их всё утро и боялся забыть. Василиса присела перед ним; под тяжестью одежды движение превратилось в небольшое спортивное достижение.

— Сегодня нельзя.

— Почему?

Правдивых ответов было несколько, и ни один не подходил четырёхлетнему ребёнку. Она не знала, захочет ли Пётр видеть сына, не понимала, как вообще обращается с маленьким Алексеем, и не хотела превращать первый день в Преображенском в семейную сцену, где ребёнок ждёт ласки, а взрослые проверяют друг друга на прочность.

— Я еду смотреть государевы мастерские. Там холодно, шумно, люди работают с огнём и тяжёлым железом.

— Я огня не боюсь.

— Верю. Но мне сегодня надо внимательно слушать и задавать много вопросов.

— Я тоже умею спрашивать.

Это было правдой. За последние дни Алексей успел выяснить, почему мать пьёт воду из накрытого кувшина, зачем открывает окно и отчего Мавре больше нельзя облизывать ложку перед кормлением.

— Тогда у меня для тебя другое дело. Проверишь, все ли буквы знаешь.

Мальчик оскорблённо выпрямился. — Все.

— Даже фиту?

Он замялся. Василиса понятия не имела, полагалось ли четырёхлетнему ребёнку уверенно знать фиту, но расчёт оказался верным.

— Почти все, — признал Алексей.

— Вот и разберись с остальными. Вечером расскажешь.

Она взглянула на Мавру. Девушка испуганно приоткрыла рот.

— Я, матушка?

— Ты умеешь читать?

— Немного.

— Значит, проследишь, чему его учат.

Аксинья явно уже представляла, во что превратится ещё одно поручение государыни.

— Для царевича учитель имеется.

— Прекрасно. Учитель будет учить, а Мавра потом спросит, что Алексей запомнил.

— Я всё запоминаю, — сообщил Алексей.

— Тем легче будет доказать.

Он всё ещё выглядел недовольным, но спорить о буквах перестал.

— Ты вернёшься?

Последние слова прозвучали тише. Василиса обняла его. Ей было непривычно, как быстро тело приняло этого ребёнка: она ещё путалась в именах дворовых женщин, но уже знала, как Алексей кладёт голову ей на плечо и что поглаживание между лопатками успокаивает его быстрее слов.

— Постараюсь вернуться сегодня.

Мальчик поднял голову. — А если батюшка непустит?

Вот теперь пообещать было легче всего — и именно поэтому нельзя.

— Тогда сразу пришло тебе весть.

— Точно?

— Точно.

— Это обещаешь?

— Это обещаю.

Алексей подумал, принимая условия, потом поцеловал её в щёку и отступил. У двери ждал Роман Хлебников. Подьячий держал кожаную сумку с таким выражением, будто внутри лежали доказательства государственного преступления, совершённого лично им.

— Всё взял?

— Всё, матушка-государыня.

— Чернила не замёрзнут?

— Спрятал под кафтан.

— Перья?

Роман поколебался.

— Два в сумке. Третье в сапоге.

— Зачем в сапоге?

— Вчера решил, что третье отберут. Сегодня подумал, что лучше заранее спрятать.

— Осваиваешься.

— Стараюсь выжить.

Аксинья одобрительно хмыкнула. Пётр прислал за Василисой широкие тяжёлые сани, обитые мехом. Впереди били копытами две лошади; слуги проверяли упряжь, стряхивали с полозьев снег и спорили, кто забыл подогреть кирпичи для ног государыни.

— Мог бы сам приехать, — пробормотала Аксинья.

— Мог бы.

Обе знали, что не приехал бы. Василиса устроилась под меховым пологом, напротив села Аксинья. Роману определили место в других санях вместе со слугами и охраной. Когда они выехали из Кремля, Москва только начинала просыпаться: над крышами поднимался печной дым, на улицах появлялись первые сани, звонили колокола, лаяли собаки, перекликались торговцы, у церквей темнели фигуры нищих.

Василиса смотрела через узкую щель в пологе. Она преподавала эту эпоху, рассказывала школьникам о сословиях, ремёслах, церковном расколе и первых преобразованиях, показывала карты, портреты и аккуратные изображения московских улиц. На картинках прошлое выглядело чистым. Настоящее пахло дымом, рыбой, кожей, конским навозом и человеческим жильём. У обочины женщина продавала горячие лепёшки, рядом мальчик лет семи колот дрова, по улице шёл старик с корзиной за спиной. Перед богато одетым всадником люди торопливо уступали дорогу. Другой мир — и всё же люди в нём смеялись, ругались, торговались, мёрзли и пытались заработать почти так же, как в её времени.

На одном из перекрёстков царские сани остановились. Дорогу перегородил тяжёлый воз с бочками: передний полоз провалился в разбитый снежный ухаб, всё перекосило, возница кричал на лошадь, царский кучер ругался в ответ. Один из сопровождавших всадников подъехал ближе и хлестнул возницу плетью по плечу.

— Не бить! — резко сказала Василиса и откинула полог.

Всадник опустил руку не сразу. — Он государыне дорогу загородил.

— Полоз провалился. От плети ухаб мельче не станет. Помогите вытащить сани и поедем.

Несколько слуг подхватили передок; через пару минут воз уже стоял у края дороги. Возница поклонился, прижимая ладонь к плечу, и царские сани снова тронулись.

Аксинья дождалась, пока перекрёсток останется позади. — Одного человека вы спасли. Теперь служилые будут гадать, где заканчивается приказ расчищать государыне дорогу и начинается запрет торопить.

— Значит, надо было позволить его ударить?

— Я сказала другое. Ваше слово дальше едет, чем эти сани. А куда доедет, не всегда видно.

Василиса прикрыла полог. Несколько сказанных ею слов не исправили дорогу и не отменили привычку бить слабого ради удобства сильного; они лишь добавили новое правило, которое кто-нибудь обязательно поймёт по-своему.

— Напомни потом узнать, кто отвечает за этот участок дороги.

— И имя всадника?

— Тоже. Сначала хочу понять, почему он решил, что обязан ударить человека ради моего удобства.

— Потому что служит вам.

— Вот это меня и беспокоит.

Преображенское встретило её грохотом. Били барабаны, кричали команды, стучали молоты, ржали лошади, скрипели полозья, лаяли собаки. Над деревянными постройками поднимался дым, за оградой двигались шеренги солдат. Потешные — если это и было развлечением, то очень серьёзным. Солдаты перестраивались по команде, поворачивались, скидывали оружие; офицеры ходили вдоль рядов и поправляли стойку. Молодой барабанщик выбивал ритм с таким лицом, словно от его палочек зависел исход настоящей войны.

Василиса сразу поняла, почему прежняя Евдокия могла бояться этого места. Здесь существовал отдельный мир Петра — не Кремль, не боярский двор с церемониями и известными заранее правилами. Здесь человека ценили не только за происхождение: мастер мог стоять рядом с дворянином, если умел делать нужную вещь, иностранец спорил с русским офицером, молодые люди хватались за работу прежде, чем выясняли, полагается ли она им по чину. Опасный мир. И очень живой. У ворот сани остановили. Начальник караула увидел царский знак, потом Василису и растерялся. Судя по лицу, он был готов к гонцу, боярину, иностранцу, обозу с порохом и небольшому вражескому нападению, но не к приезду царицы в мужской военный двор.

Люди начали оборачиваться, один старый служитель перекрестился, кто-то побежал сообщать дальше.

— Теперь весь двор к полудню знать будет, — тихо сказала Акси́нья.

— Только двор?

— К вечеру Москва.

— Быстро.

— Про женщину всегда быстрее, чем про войну.

Сани остановились возле длинной деревянной постройки. Слуга откинул полог. Пётр стоял под навесом, где несколько человек разбирали пушечный лафет. Он был без шапки, несмотря на мороз; тёмный кафтан сидел небрежно, рукава закатаны, пальцы испачканы смазкой и сажей. Рядом толпились офицеры, мастера и несколько молодых мужчин. Один что-то рассказывал, размахивая руками, Пётр слушал вполуха и одновременно следил, как плотник укрепляет деревянную деталь. Он посмотрел в сторону саней — и не подошёл. Василиса поняла: проверка уже началась. Будет ли она ждать, пока муж встретит её как царицу, обижаться, требовать, чтобы все бросили работу и выстроились перед законной государыней?

Она откинула полог и выбралась наружу. Ноги сразу провалились в снег, сарафан мешал шагать, шуба тянула плечи; после болезни земля качнулась под ногами. Василиса остановилась, будто осматривала двор, дождалась, пока головокружение пройдёт, и только потом направилась к Петру. За ней двинулись Акси́нья и Роман с сумкой. Люди кланялись, шум постепенно стихал, даже барабанщик сбился с ритма. Царица вошла туда, где, по мнению большинства присутствующих, ей делать было нечего. Пётр вытер руки о тряпку.

— Доехала.

— Как видите.

— Не развалилась?

— Ещё нет.

Пётр кивнул в сторону Романа. — Этого зачем привезла?

— Записывать.

— Вижу, что не плясать.

Роман втянул голову в плечи.

— Ты вчера про учеников говорила, — продолжил Пётр. — Вот тебе ученики. Гляди.

Не «советуй», не «решай» — только гляди. Молодой человек рядом с Петром улыбнулся. Приятное открытое лицо, быстрые глаза и выражение человека, одинаково способного рассмешить собеседника или незаметно унести его кошелек. Александр Меншиков. Пока без княжеского титула и дворцов, но уже рядом с Петром настолько близко, что положение не требовало объяснений.

— Алексашка, — сказал Пётр. — Видел её прежде?

— Издали.

— Теперь близко поглядел.

Меншиков поклонился.

— Матушка-государыня.

— Александр Данилович.

Он чуть приподнял брови, явно не ожидая такого почтительного обращения. Пётр посмотрел с одного на другого. — И что?

Вопрос был ловушкой для обоих. Меншиков выдержал паузу и выбрал безопасное.

— После хвори государыня похорошела.

Пётр рассмеялся.

— А вы после знакомства со мной стали осторожнее, — заметила Василиса.

— Учусь быстро.

— Это полезно.

— Не всегда, — вмешался Пётр.

Рядом стоял высокий мужчина около сорока лет с ухоженными усами и открытым лицом.

— Франц Яковлевич Лефорт, — представил его Пётр.

Франц Лефорт. Один из людей, рядом с которыми Пётр построил себе другую жизнь. Лефорт поклонился легко, без московской тяжеловесности.

— Государыня. Государь много рассказывал о вашем разговоре.

— Надеюсь, только хорошее.

— Ничего хорошего я не рассказывал.

— Значит, Франц Яковлевич умеет делать приятные выводы из плохих рассказов.

— Теперь понимаю, зачем государь велел нам всем смотреть.

— На что?

Пётр кивнул в сторону мастерской. — На тебя. Мастеров я уже видел.

— Тогда вам известно, чему они учат русских.

— Мне многое известно. Хочу поглядеть, что увидишь ты.

Он повернулся и пошёл к двери. Меншиков уступил Василисе дорогу с улыбкой, которая не обещала ничего спокойного. В мастерской было теплее, но ненамного. Помещение напоминало одновременно кузницу, склад и учебный класс, в котором никто не подумал поставить доску: вдоль стен стояли верстаки, на полках лежали инструменты, металлические заготовки, деревянные детали и свёрнутые чертежи. Несколько молодых русских работали под наблюдением иностранного мастера. Тот говорил по-немецки — быстро, раздражённо. Ученики кивали. Мастер взял заготовку, показал движение инструментом и передал её ближайшему парню. Тот попытался повторить, сделал что-то не так; немец выругался, оттолкнул его плечом и сам поправил деталь.

Пётр встал у стены, сложив руки на груди. — Ну?

Все посмотрели на Василису. Она могла немедленно объявить проблему — это было бы эффективно и слишком похоже на экзамен, ответ к которому выучен заранее. Вместо этого она подошла к ученику. Парню было лет семнадцать, крупные руки, обветренное лицо, свежая царапина на щеке.

— Как зовут?

— Гришкой, матушка-государыня.

— Что мастер показывал?

Гришка испуганно покосился на иностранца.

— Железо ровнять.

— Для чего?

Парень замялся.

— Чтобы ровное было.

Меншиков тихо хмыкнул. Василиса указала на заготовку.

— Что из неё сделают?

— Деталь.

— Какую?

Гришка опустил голову. Второй ученик тоже не знал. Выяснилось, что работают они здесь третий месяц, а мастер почти не объясняет назначение деталей: говорит по-немецки, толмач приходит только время от времени.

— Где он сейчас? — спросила Василиса.

Пётр обернулся к своим людям. Ответа не последовало.

— Кондратия позвать!

Солдат выбежал из мастерской. Иностранец что-то раздражённо спросил; один ученик следил за его руками, второй — за Петром, третий стоял в стороне и явно надеялся, что до него очередь не дойдёт. Через несколько минут появился запыхавшийся толмач.

— Государь, звали?

— Где был?

— В пушкарской избе. Там мастер с солдатами сговориться не может.

Пётр кивнул на русских ребят. — А здесь кто переводит?

Толмач оглядел учеников.

— Мастер знаками показывает.

Пётр коротко кивнул ей. — Вот теперь говори.

— Один толмач на две мастерские?

— Сегодня на три, — сказал Лефорт. — Второй захворал.

— Тогда дело не только в учениках.

Лефорт перевёл её слова мастеру, выслушал ответ и повернулся к Петру. — Он говорит, что нанят делать работу. Молодых людей ему дали носить железо и помогать. Учить их по договору он не обязан.

Улыбка исчезла с лица Петра.

— Кто договор составлял?

Несколько человек отвели глаза.

— Узнать, — бросил он Меншикову.

Тот исчез без лишних вопросов. Пётр подошёл ближе к Василисе. — Что видишь?

Он ещё не просил решения — только хотел услышать, насколько далеко она сумеет пройти от очевидного к полезному.

— Мастер считает русских помощниками. Русские думают, что стали учениками. Толмач нужен в нескольких местах и приходит, когда может. Никто никого прямо не обманывает. Но через год вы получите работу и людей, которые научились смотреть на чужие руки.

— И что предлагаешь?

— Сначала выяснить, сколько таких мастеров, что написано в договорах и кого к ним приставили. Потом уже решать, кого можно обязать учить, а с кем придётся договариваться заново.

— Тогда ты быстрее говорила.

— Вчера я не видела мастера и договора.

— Испугалась?

— Да.

Он явно не ожидал ответа.

— Чего?

— Приказать то, в чём не разобралась.

Несколько секунд Пётр смотрел на неё, потом коротко рассмеялся.

— Этого в Москве мало кто боится.

— Поэтому у вас много приказов и мало людей, готовых отвечать за результат.

Лефорт опустил голову, скрывая улыбку. Пётр повернулся к нему.

— Франц, роспись всех иноземных мастеров мне.

— Она есть.

— Где?

— В разных бумагах.

— Значит, нет.

— К завтрашнему дню соберём.

— Не всех, — вмешалась Василиса.

Пётр вскинул голову, мгновенно переключившись на неё.

— Почему?

— Начнём с трёх или четырёх. Там, где есть русские помощники и толмач. Посмотрим, что написано и что происходит на деле. Иначе получим длинную роспись, которую никто не успеет проверить.

— Опять мало бумаги?

— Пока мало.

Пётр повернулся к Роману.

— Слышал?

— Слышал, государь.

Подьячий уже доставал перо.

— Росписи по четырём мастерам, — продиктовала Василиса. — Договор или выписку, сколько русских при каждом, кто переводит и что помощникам позволено делать самим.

— Не ученикам, — заметил Лефорт.

— Именно. Чтобы не выдавать желаемое за настоящее.

Пётр провёл пальцем по заготовке. — И как проверять станешь?

— Поговорю с мастером через толмача. Потом попрошу одного помощника объяснить работу своими словами и сделать небольшую часть без подсказки.

Пётр покрутил в пальцах металлическую заготовку.

— Испортит.

— Значит, дадим то, что можно переделать.

— А ежели мастер скажет, что времени на твои игры нет?

— Тогда станет понятно, что обучение требует отдельной платы или отдельного условия.

Лефорт следил за разговором уже без улыбки. Пётр заметил это, но продолжал смотреть только на Василису.

— Всё деньгами решишь?

— Нет. Но притворяться, что человек обязан бесплатно делать то, на что не нанимался, тоже нельзя.

Лефорт стал слушать внимательнее. До этого она была для него лишь изменившейся московской женой Петра; теперь в его осторожности появился профессиональный интерес. Меншиков вернулся с худым приказным человеком.

— Государь, договор подьячий Савва составлял. Об учении русских там ничего нет. Только работа и срок.

Пётр постучал ногтем по железу.

— Значит, Дуня не совсем зря приехала.

Это не было похвалой — лишь признанием факта, которое можно отменить следующим предложением.

— Алексашка, будешь при ней. Гляди, что спрашивает, кому бумаги даёт и кто к ней сам полезет.

Меншиков поклонился с явным удовольствием.

— С радостью.

— Не сомневаюсь, — сказала Василиса.

Пётр прищурился.

— Не нравится?

— Вы обещали проверить меня. Было бы странно после первого ответа сразу поверить.

Но Александр Данилович будет мешать.

— Тем лучше. Настоящему делу всегда кто-нибудь мешает.

Меншиков, похоже, воспринял эту роль почти как развлечение.

— Постараюсь быть полезной помехой.

— Вот этого и боюсь.

Следующим оказался оружейный сарай. Между ним и конюшнями Акси́нья всё-таки усадила Василису на четверть часа в тёплой избе и заставила выпить горячего отвара.

— Я ещё могу идти, — возразила Василиса.

— Потому и посадила сейчас, а не понесла потом.

Спорить с такой логикой было трудно. Роман устроился у печи и пытался отогреть чернила, не вынимая их из-под кафтана.

— Не сварятся? — спросила Василиса.

— Надеюсь, государыня.

— А если сварятся?

— Буду писать углём.

— На договорах?

Подьячий побледнел уже от одной мысли.

— Тогда меня повесят раньше, чем чернила остынут.

Акси́нья подала ему кружку.

— Пей. Живой подьячий полезнее грамотного покойника.

Кружку Роман принял с такой благодарностью, будто Акси́нья только что отменила его казнь.

— Это забота?

— Расходы берегу.

Через четверть часа Василиса снова поднялась. Ноги всё ещё были слабее упряма, но голова прояснилась. Они осмотрели конюшни и площадку для стрельбы. Пётр словно нарочно водил её по самым шумным, холодным и грязным местам, ожидая, когда царица потребует вернуть сани. Василиса не требовала — отчасти из упряма, отчасти потому, что ей действительно было интересно. Здесь порядок и хаос существовали одновременно: солдаты двигались по команде с пугающей точностью, а рядом под снегом лежали сломанные полозья; оружие в сарае висело аккуратно, инструменты были свалены в одну кучу; одни люди работали до изнеможения, другие старательно изображали занятость.

Менялись века, одежда и способы наказания. Способность провести рабочий день, не сделав ничего полезного, оставалась бессмертной. У конюшен Пётр остановился.

— Ну что, государыня? Не наскучило?

— Пока нет.

— Прежняя Дуня уже трижды спросила бы, когда домой.

— Прежней Дуне здесь не нравилось.

— А тебе?

Вопрос прозвучал неожиданно. Василиса огляделась: морозный воздух, дым, солдаты, лошади, крики, молодые мужчины, спорящие над чертежом. Сам Пётр, испачканный сажей и явно чувствующий себя здесь свободнее, чем в царских палатах.

— Здесь много жизни.

— В Кремле мёртвые живут?

— В Кремле все заняты тем, чтобы правильно стоять.

Пётр рассмеялся.

— А здесь?

— Здесь неправильно бегают.

— Бегают всё-таки.

— Именно.

Он смотрел на неё не как на жену, а скорее как на человека, которого впервые увидел после долгого знакомства.

— Димитрий приходил? — спросил он внезапно.

Василиса насторожилась.

— Приходил.

— Долго сидел.

— Вы уже знаете?

— Я много чего знаю.

— Тогда зачем спрашиваете?

— Хочу услышать, как ответишь.

— Исповедь не пересказывают.

— Мне можно.

— Почему?

— Я царь.

— А он духовник.

Пётр прищурился.

— Против меня тебя настраивал?

— Нет.

— Против немцев?

— Тоже нет.

Два простых подозрения отпали, но любопытство Петра от этого только усилилось.

— Тогда чего столько времени говорил?

— В основном слушал.

— Тебя?

— Меня.

Он задержался перед ней на полшага дольше обычного.

— И что услышал?

Василиса посмотрела прямо. — Спросите у него.

Пётр поморщился.

— Он поучать начнёт.

— Перебьёте.

— Снова начнёт.

— Значит, нашёлся человек, которого вы не можете перекричать.

— Могу.

— Но приходится долго.

Он фыркнул и пошёл дальше. Василиса догнала его.

— Вы велели Меншикову следить за мной потому, что я говорила с духовником?

— Не только.

— Из-за Романа?

— Подьячий твой мне не страшен.

Роман, шедший позади, сделал вид, что ничего не слышал.

— Тогда из-за кого?

Пётр остановился. — Вот пусть Алексашка и узнает.

Он не скрывал подозрения, наоборот, выставял его перед ней как наточенный инструмент. Ей разрешили войти, но дверь за спиной не закрыли, а возле выхода поставили человека Петра. Склад обнаружился почти случайно. Они шли к постройке возле воды, когда двое работников вынесли из длинного сарая тяжёлый мешок. Один поскользнулся, мешок ударился о землю, и из разошедшегося шва на снег посыпалась серая комковатая мука. Василиса остановилась.

— Подождите.

Пётр прошёл ещё несколько шагов и обернулся. Она наклонилась к рассыпанной муке — пахло сыростью.

— Давно лежит?

Работник побледнел.

— Не ведаю, матушка-государыня.

— Откуда несёте?

Он указал на склад. Внутри было темно и холодно. Мешки стояли прямо на полу, у стены расплзлось мокрое пятно, с потолочной балки падали редкие капли. Василиса коснулась нижнего мешка — ткань была влажной.

— Здесь всё отсырело.

Кладовщик немедленно поклонился.

— Никак нет, государыня.

Она молча показала мокрую ладонь.

— От мороза сырость, — нашёлся мужчина.

— Мука от мороза мокрой не становится.

Пётр выхватил нож и вспорол ближайший мешок. Из разреза посыпалась слежавшаяся серая масса; запах плесени стал сильнее. Лицо царя мгновенно стало неподвижным.

— Сколько?

Кладовщик упал на колени.

— Не вели казнить, государь! Крыша потекла. Починить просил.

Пётр поднял руку, и кладовщик заранее втянул голову в плечи, ожидая удара. — Пётр Алексеевич, — позвала Василиса.

Он резко повернулся.

— Что?

— Сначала муку спасти.

— Его пожалела?

— Муку.

На мгновение между ними повисла пауза, потом Пётр спросил: — Что делать?

Это был первый раз, когда он спросил до собственного приказа. Не из доверия — просто она заметила проблему раньше.

— Перебрать мешки. Что можно, перенести и просушить, испорченное отделить. Крышу закрыть хотя бы временно и проверить соседние склады.

— А с ним?

— Пусть сам разбирает каждый мешок. Потом решите, как наказывать.

Пётр вскинул брови.

— Потом?

— Если начать с плети, остальные будут смотреть на наказание. Пока мы спорим, мука продолжит мокнуть.

Меншиков привёл Никифора Гаврилова, отвечавшего за хозяйственные работы. Быстро выяснилось, что кладовщик дважды просил починить крышу, Никифор посылал плотников, те требовали доски, а просьба застряла между работником, писцом и чужим распоряжением. Никто не приказывал губить муку — каждый лишь отложил собственную часть дела.

— Высечь обоих, — решил Пётр. — Плотников тоже привести.

Кладовщик застонал. Василиса не стала просить милости. После одного разговора Пётр не перестанет считать плеть естественным продолжением ошибки; если начать перевоспитывать царя прямо здесь, все увидят лишь женскую жалость.

— Сначала заставьте их сохранить то, что осталось, — сказала она. — Пусть своими руками увидят каждый испорченный мешок.

Пётр посмотрел на мужчин. — Слышали? До темноты крышу закрыть, муку перебрать. После получите своё.

Это не было милосердием. Наказание всего лишь отложили до окончания работы.

— Роман, — позвала Василиса.

Подьячий подошёл, уже готовя перо. — Запиши коротко: кто увидел протечку, кому сказал и что тот сделал.

— Для чего? — спросил Никифор.

— Чтобы в следующий раз не собирать всю историю возле сгнившей муки.

— Крик быстрее.

— Быстрее собирает людей. Но не сохраняет ответ.

Лефорт стоял у входа и до этого не вмешивался.

— Государь, человек, который боится принести дурную весть, обычно ждёт, пока она станет ещё хуже.

Пётр повернулся к нему. — Теперь вдвоём станете меня учить?

— Нет, — ответила Василиса. — Франц Яковлевич объясняет, почему о мокрой муке вы узнали только сейчас. А я предлагаю один раз записать, как такая весть должна доходить до человека, который может решить дело.

Пётр посмотрел на раскрытый лист Романа.

— Сделай образец.

— Чего?

— Такой записи. Короткой. Чтобы прочитать можно было раньше, чем мука сгниёт.

— Мне нужен человек, который знает ваши порядки.

— Возьмёшь Никифора. И человека от Франца.

Вот и предел: ей дали работу, но людей определил Пётр, доступ шёл через Лефорта, рядом оставался Меншиков. Василиса слишком быстро выпрямилась, и склад качнулся. Она схватилась за полку, пальцы скользнули по сырому дереву. Пётр успел подхватить её. Одна рука сомкнулась вокруг талии, другая легла на предплечье. От него пахло морозом, дымом, кожей и потом — не неприятно, просто слишком живо. Перед ней был не портрет и не историческая фигура, а молодой мужчина, которого это тело знало как мужа. Дыхание сбилось. По коже прошла дрожь; внутри поднялось странное сочетание узнавания, страха и тепла. Чужая память — или её собственная реакция, она не знала.

Пётр тоже на мгновение замер. Его лицо оказалось совсем близко, у правого виска едва заметно дрогнула мышца. Потом он поставил Василису на ноги. — Говорил, не развались.

— Я старалась.

— Плохо.

— Зато муку нашли.

— Я и без тебя нашёл бы.

— Когда?

Он прищурился.

— Дерзишь.

— После горячки бывает.

Пётр всё ещё держал её за локоть. Василиса опустила взгляд на его пальцы. Он заметил и сразу отпустил. Отец Димитрий предупреждал, что привычки тела не дают ей права считать прежнюю жизнь своей. Но тело уже вело отдельные переговоры.

— Домой поедешь, — сказал Пётр.

— Мы не закончили.

— Ты сейчас в муку упадёшь.

— Тогда посадите меня.

— Я тебе не слуга.

— Вы государь. Можете приказать принести лавку.

Кладовщик бросился за ней раньше, чем Пётр успел ответить. Царь расхохотался.

— Садись.

Василиса опустилась на принесённую лавку. Ноги дрожали — не только от слабости. Пётр вышел из склада следом за Лефортом. У дверей его ждал Меншиков.

— Алексашка, — сказал Пётр достаточно громко, чтобы Василиса услышала. — К вечеру узнаешь, кто к ней ходил после хвори. Не только дворцовых баб. Духовник, родня, приказные. И с кого Роман бумаги берёт.

Меншиков на ходу отметил её присутствие, но ничего не сказал.

— Всё узнать?

— Что сумеешь. Только не вспугни.

— Я редко пугаю людей, государь.

— Потому и посылаю.

Когда они ушли, перо Романа так и осталось висеть над листом.

— Писать это? — тихо спросил он.

— Нет.

— А отсутствие записи отметить?

Василиса едва не рассмеялась.

— Тоже нет.

— Хорошо.

Подьячий явно обрадовался, что впервые за день чего-то записывать не пришлось. К вечеру Василисе отвели небольшую комнату в деревянном дворце Преображенского: низкий потолок, широкая кровать, иконы и два окна. По сравнению с кремлёвскими палатами помещение выглядело почти бедным, и это ей понравилось. Здесь было меньше мебели, людей и пространства для церемоний. У двери поставили двух служителей царицы и двух государевых караульных. Акинья лично осмотрела соседние помещения, проверила засовы, выяснила, кто имеет право входить ночью, и только после этого позволила женщинам снимать с Василисы тяжёлую одежду. Всё это время она молчала.

— Говори уже, — не выдержала Василиса.

— Что?

— Ты весь вечер молчишь.

Аксинья медленно складывала меховой платок.

— Государь вас держал.

— Я падала.

— Прежде не держал.

— Прежде я, вероятно, не падала на мокрые мешки.

— Не в мешках дело.

Василиса сняла шапку, волосы рассыпались по плечам.

— А в чём?

Аксинья наконец подняла глаза. — Отпустил не сразу.

— Боялся, что снова упаду.

— Может.

— Ты думаешь иначе?

— Думаю, прежнюю вас он давно так внимательно не разглядывал.

Василиса отвернулась к окну. За стеклом темнело, во дворе горели костры, слышались команды и стук молотов. Преображенское не засыпало вместе с солнцем. Пётр тоже будто не умел останавливаться: весь день проверял мастерские, склады, оружие, людей, кричал, смеялся, спорил, сам хватался за инструменты и мгновенно замечал то, что считал важным. Словно пытался прожить несколько жизней одновременно и требовал того же от окружающих.

— Он любил Евдокию? — спросила Василиса.

Аксинья не ответила сразу.

— Когда-то ждал её писем.

— Это не ответ.

— Другого у меня нет.

— А она его любила?

— Любила.

Тело отозвалось лёгкой болью, не в груди — глубже, будто слово коснулось места, принадлежавшего другой женщине.

— Сильнее, чем следовало?

— Сильнее, чем ей было полезно.

В дверь постучали. Молодой солдат передал записку от государя. Василиса развернула лист: «Завтра поутру росписи мастеров смотреть будешь с Францем и Алексашкой. Роман пусть пишет. До конца дела в Преображенском останешься. Отговорок не приму. Пётр». Ни обращения, ни прежнего «Петрушка». Первым она вспомнила Алексея. Он спросит вечером, вернулась ли матушка. Но на этот раз Василиса не обещала невозможного — только прислать весть.

— Бумагу, — сказала она.

— Ныне? — спросила Аксинья.

— Сейчас.

Письмо четырёхлетнему ребёнку оказалось труднее росписи мастеров. Василиса написала коротко: «Алёша, батюшка велел мне остаться в Преображенском. Сегодня вернуться не смогу. Я помню о тебе и утром снова пришлю весть. Слушай учителя и покажи Мавре, как выучил фиту. Матушка». Она перечитала строки.

— Он поймёт?

— Поймёт, что вы не приехали. Остальное Мавра объяснит.

— Пусть гонец дожждётся, пока она прочтёт. И передаст мне, как Алексей принял.

— Нынче уже поздно.

— Он ждёт сейчас.

Аксинья кивнула и вышла распоряжаться. Оставшись одна, Василиса снова взяла записку Петра. Он не отправил её обратно в Кремль, не признал соратницей и не поверил ни одному

слову без проверки. Дал маленькое поручение, приставил своих людей и велел выяснить, кто мог научить жену думать иначе. Но работа была настоящей. И завтра ей позволят увидеть бумаги, которые ещё утром для неё не существовали. Радость от этого никуда не исчезла. Просто рядом с ней уже стояла вина. Акси́нья вернулась не скоро. Сняла платок, отряхнула снег и подошла к столу.

— Гонец вернулся.

Василиса сразу поднялась. — Что Алексей?

— Мавра прочла письмо. Царевич спросил, отчего батюшка не отпустил.

— И что она сказала?

— Что государево дело не закончилось.

Василиса сжала пальцы на краю стола. — Он плакал?

— Сначала нет.

— А потом?

— Когда велел поставить вашу чашку к ужину.

Василиса закрыла глаза.

— Что ещё?

— Фиту показал. Неверно. Мавра дважды поправила, а царевич сказал, что завтра покажет вам сам.

— Значит, ждёт завтра.

— Да.

— А я не знаю, вернусь ли.

Акси́нья подошла к печи и поправила заслонку. — Теперь знаете, почему обещания детям дают осторожнее, чем государям.

— Я обещала прислать весть. И прислала.

— Но он всё равно ждал вас.

— Да, я поняла. Это должно меня утешить?

— Нет. Только напомнить: ребёнок слышит не одни слова. Он слышит ещё и то, чего хочет.

За окном снова загремел барабан. Василису не приняли в мир Петра. Ей лишь приоткрыли дверь, поставили рядом наблюдателя и решили посмотреть, как быстро она оступится. Но дверь всё-таки была открыта. А в Кремле остался мальчик, которому её письмо не заменило возвращения.

## ГЛАВА ПЯТАЯ. Пятый тост

К рассвету Василиса так и не уснула. Ответ гонца оказался коротким: Алексей дважды велел прочитать её записку, спросил, батюшка ли не отпустил матушку, и положил письмо под подушку. Потом показал Мавре фиту — неверно — и потребовал не подсказывать, потому что сам расскажет матери, когда она вернётся.

Василиса несколько раз повторила себе, что обещала прислать весть и обещание исполнила. Объяснение было правильным, только легче от него не становилось.

— Сегодня я вернусь, — сказала она.

Аксинья Тимофеевна сидела у печи, держа ладони над угасающими углями. За ночь в Преображенском успело выстыть всё, кроме людей: в соседней комнате ещё шуршали бумагами, во дворе переговаривались караульные, а из дальнего крыла доносился стук — кто-то уже растапливал мастерские.

— Государю сообщили? — спросила она, не оборачиваясь.

— Нет.

— Тогда пока это ваше намерение, а не известный факт.

— Очень полезное различие на рассвете.

— При дворе полезные различия редко дают выпастся.

За столом уже сидел Роман Хлебников. Подьячий явился ещё ночью, успел сломать одно перо и теперь берёт два оставшихся так, будто они были последними письменными принадлежностями Русского царства. Он растирал замёрзшие пальцы и старательно не замечал кашу, которую принесли Василисе.

— Вам бы поспать, государыня, — осторожно сказал он.

— Тебе тоже.

— Я подьячий.

— А я царица.

Роман подумал, бросил взгляд на её бледное лицо и всё-таки решился:

— Вот потому вам нужнее.

Аксинья коротко хмыкнула.

— Смелеет.

— От недосыпа, — пробормотал Роман. — Поутру пройдёт.

В дверь постучали. Вошёл мужчина лет тридцати пяти в тёмном иностранном камзоле; белые манжеты были без единого пятна. На фоне Преображенского, где даже у Петра под ногтями оставалась сажа, такая чистота выглядела почти вызывающе.

— Иоганн Келлер, государыня. Состою при Франце Яковлевиче для писем и счетов.

— Русских или иностранных?

— Всяких.

Он положил перед ней несколько листов. Чернила ещё блестели, к нижнему краю первой страницы прилипли песчинки, которыми торопливо промокали написанное. В верхней строке значилось: «Роспись иноземным мастерам и состоящим при них русским ученикам».

Ниже стояло число — тридцать семь.

Вчера в четырёх мастерских настоящих учеников набралось меньше, чем теперь возникло за одну ночь.

— Франц Яковлевич велел передать имена мастеров, ремёсла, жалованье и число учеников, — сказал Келлер. — Всё, как государыня изволила.

В росписи значились десять мастеров. Напротив русских имён стояли аккуратные пометы: «обучен хорошо», «может работать сам», «ремесло постигает успешно».

Красивый отчёт. Слишком быстрый, чтобы не насторожить.

— Кто оценивал учеников?

— Наставники.

— Самих русских спрашивали?

Келлер чуть заметно поджал губы.

— Роспись составляли в спешке. Государь ожидает её ныне.

— Государь ожидает сведения, а пока мы знаем только, что мастера думают о собственной работе. Принесите записи, из которых собирали роспись.

— Не все мастера ведут записи.

— Тогда укажите, у кого их нет.

Келлер уже собирался забрать бумаги, но Василиса придержала верхний лист двумя пальцами.

— И ещё. Я проверю несколько имён из списка.

— Сколько?

Назвать большое число хотелось почти инстинктивно: так распоряжение выглядело бы серьёзнее. Но до вчерашнего дня она вообще не знала этих людей.

— Сначала двенадцать. Из разных мастерских.

Келлер поклонился и вышел. Роман дождался, пока за ним закроется дверь, и придвинулся к столу.

— Нарочно сделал?

— Не знаю.

— Знаете.

— Подозреваю.

— Разве не одно?

Василиса раскрыла роспись снова.

— Нет. Подозрение позволяет смотреть. Знание заставляет обвинять.

Подмена могла оказаться совсем простой. Помощника называли учеником; человека, подносившего уголь, тоже. Русского кузнеца поставили рядом с немцем и решили, что близость к ремеслу уже считается обучением. Возможно, никто даже не собирался лгать: мастер называл учениками всех молодых людей при себе, писец переносил слово в роспись, Лефорт получал красивое число, а Пётр — быстрое исполнение. Через год виноватыми окажутся русские, которые почему-то не научились ремеслу.

— Найдём двенадцать человек, — сказала она.

Роман покосился на остывающую кашу и осторожно напомнил:

— Государыня ещё не завтракала.

— Значит, посмотрим, что найдётся раньше: ученики или мой аппетит.

— Аппетит, надеюсь, ходит медленнее.

— Не надейся.

К полудню они проверили не двенадцать, а десять имён. Один человек уехал с обозом, второго никто не смог найти, хотя в росписи было сказано, что он ежедневно работает при мастере. Двоих записали сразу в двух мастерских, трое появились в Преображенском только на этой неделе.

Семён Кривой продолжал настаивать, что его единственное ремесло состоит в том, чтобы не попадаться под задние копыта.

— Я при конюшне, матушка-государыня, — объяснил он, переминаясь в снегу. — Немецкий мастер рядом ходит. Может, потому и записали.

— Чему он тебя учит?

Семён задумался с такой серьёзностью, словно от ответа зависела государственная тайна.

— Не вставать у лошади сзади.

— Это он объяснил?

— Лошадь.

Из десяти человек только четверо смогли внятно рассказать, чему учатся. Гришка из кузницы назвал инструменты, показал, как держать заготовку, и знал по-немецки четыре слова: одно оказалось названием молота, второе означало «держи», а два остальных Лефорт позднее отказался переводить при государыне. Другой помощник умел повторить несколько движений, но не понимал, для чего предназначена деталь. Третий мог работать самостоятельно, только если мастер заранее размечал всё углём.

Четвёртый действительно учился. Он знал порядок работы, объяснил назначение инструментов и показал две испорченные заготовки, которые мастер велел сохранить.

— Зачем хранить плохие? — спросила Василиса.

Парень пожал плечами, будто ответ был очевиден.

— Чтобы второй раз так не портить.

Вот это уже было подтверждением. Одним из десяти — слишком мало для выводов обо всех тридцати семи, но достаточно, чтобы перестать доверять росписи без проверки.

Пётр слушал итоги стоя. Когда сердился, сидеть он не любил: голова чуть склонилась к левому плечу, пальцы отбивали по бедру быстрый неровный ритм. Лефорт держался у стены с выражением радушного хозяина, у которого гости случайно разбили недорогой бокал. Келлер стоял рядом, всё ещё безупречно прямой.

— Тридцать семь, — произнёс Пётр. — Из десяти один настоящий.

— Не один. Четверо чему-то учатся. Один может объяснить дело полностью.

— Лучше стало?

— Точнее.

— А остальные двадцать семь?

— Не проверены.

Пётр перестал отбивать пальцами ритм.

— Раньше ты бы уже сказала, что все лгут.

— Раньше было вчера.

— Быстро учишься.

— Приходится.

Лефорт взял роспись и провёл ногтем по одной из строк.

— В список включили помощников. Немецкий мастер часто называет учеником всякого молодого человека при себе.

— Даже конюха? — спросила Василиса.

— Конюх, полагаю, ошибка.

— Очень способный. За ночь освоил ремесло и сам об этом не узнал.

Меншиков отвернулся к окну, но плечи у него дрогнули.

— Писцы спешили, — продолжил Лефорт. — Хотели показать, что государево распоряжение исполняется.

— Моё распоряжение было записать людей при мастерах и отдельно указать, чему их учат.

— Значит, надобно было точнее объяснить.

— Я так и сказала.

— Не мне.

Возражение было справедливым. Она говорила Петру и Роману; дальше приказ прошёл через Лефорта, его людей, толмачей и писцов. Каждый сократил то, что показалось лишним, и добавил привычное слово. Помощники превратились в учеников, а отсутствие проверки — в успех.

— Значит, одного устного распоряжения оказалось мало, — признала Василиса.

— Или одного дня, — ответил Лефорт.

Он не оправдывался, но и не позволял превратить себя в виновника намеренной подмены.

Пётр бросил роспись на стол.

— Кто писал?

Келлер шагнул вперёд.

— Я, государь.

— Врёшь плохо или считаешь плохо?

— Пользовался ответами мастеров.

— Значит, проверяешь плохо.

— Вина моя.

Лефорт положил ладонь ему на плечо.

— И моя, мин херц. Я торопил.

Вины он взял ровно столько, чтобы прикрыть своего человека и не сделать себя главным виноватым. Возможно, именно так всё и произошло. Возможно, он просто не мешал красивому числу появиться. Василиса пока не знала — и это раздражало сильнее любой удобной уверенности.

— Нашла всё-таки, — сказал Пётр.

— Нашла, что десяти имён недостаточно для тридцати семи.

— Значит, проверка полезна, — тут же подхватил Лефорт.

Ошибка уже превращалась в доказательство пользы нового порядка.

— Особенно когда проводится до того, как роспись объявили успехом, — сказала Василиса.

Улыбка Лефорта осталась на месте, но он понял. И она поняла, что доказать умысел не сможет.

— Переписать, — приказал Пётр. — Без конюхов и прочей дряни.

— Переписать по каким словам?

— По правдивым.

— Для каждого «учится» означает своё. Нужно разделить: помощник, ученик, может повторить работу, может объяснить, может сделать сам.

— Слишком длинно.

— Тогда снова получится тридцать семь.

— Записал?

— Да, государь.

— Коротко перепиши.

Подьячий на мгновение задержал перо над листом.

— Насколько коротко?

— Чтобы я понял.

— А другие?

— Сначала я.

Вот и сопротивление. Пётр согласился исправить роспись, но строить большой порядок ради одного отчёта пока не собирался.

— На проверку нужен не один день, — сказала Василиса.

— Вчера половину Преображенского обошла.

— Поэтому сегодня ноги дрожат даже сидя.

Пётр опустил глаза на тяжёлый край её сарафана.

— Домой хочешь?

— Хочу.

Ответ удивил, кажется, всех. Меншиков даже поднял брови.

— И уедешь? — спросил Пётр.

— После того как договоримся, что проверяем дальше.

— Значит, не хочешь.

— Хочу к сыну и хочу закончить работу. Эти желания пока не договорились между собой. Лефорт тихо рассмеялся.

— Помирить их можно за ужином. Государь, государыня, Александр Данилович, прошу в мой дом. Начало дела следует отметить.

— Какого начала? Мы установили, что красивое число ничего не значит.

— Тем более есть повод выпить за точность.

— Вы любую неудачу превращаете в тост?

— Почти любую.

Василиса могла отказаться. Возможно, Лефорт именно этого и ожидал: московская жена испугается иностранного дома, музыки, открытых женских волос и пьяных офицеров, начнёт просить Петра вернуться и напомним ему обо всём, от чего он привык убегать в Немецкую слободу.

— Приеду, — сказала она. — Но прежде решим, что будет с росписью.

Пётр шумно выдохнул.

— Опять.

— Иначе вечером выпьем за дело, которого утром не окажется.

Лефорт вмешался прежде, чем государь успел вспылить:

— Проверите ещё двенадцать имён. Келлер принесёт первоначальные записи, толмачей опросят отдельно.

— И одного мастера попросим показать работу ученика без подсказки.

— Одного? — спросил Пётр.

— Для начала.

— Трусливо.

— Дёшево.

Меншиков рассмеялся.

— Ты уже согласился ехать?

— Я ещё молчал.

— Для тебя это и есть согласие.

Аксинья Тимофеевна встретила известие об ужине молчанием, и это оказалось хуже ругани. На постели она разложила два сарафана: тяжёлый золотой, расшитый жемчугом, и тёмно-вишнёвый — скромнее и заметно легче.

— Второй, — выбрала Василиса.

— Первый богаче.

— В первом я не смогу поднять руку.

— Государыне за столом не положено руками размахивать.

— У Лефорта, подозреваю, придётся отбиваться.

Аксинья затянула шнур на её спине сильнее необходимого.

— Нечего туда ехать.

— Поздно.

— Можно захворать.

— Я только что выздоровела.

— Можно снова.

— Прекрасная защита русской царицы: притвориться больной, чтобы не встретить иностранную женщину.

Руки Аксиньи остановились.

— Кто сказал про женщину?

— Ты.

— Я ничего не говорила.

— Именно.

На лавке ждала высокая кика. Жемчужный край давил на виски ещё до того, как женщины закрепили покрывало. Василиса смотрела на головной убор и думала, что прежняя Евдокия надевала его, уже зная, куда и к кому уезжает муж: та же тяжесть, те же булавки возле кожи.

— Анна Монс будет?

— Будет.

— Уверена?

— Она у Франца Яковлевича часто бывает.

— Вместе с Петром?

— Да.

Тело Евдокии отозвалось болью, словно под рёбра осторожно просунули тонкую иглу.

— Он остаётся у неё?

Аксинья занялась покрывалом. Ответ не требовался.

— Давно?

— Не первый год.

— Все знают?

— Все.

Вот это оказалось большее самой измены. Знали слуги, офицеры, иностранцы, бояре. При имени Анны люди отводили глаза не только из осторожности — из жалости к законной жене.

— Она красива?

— Вы красивее.

— Значит, красива.

Аксинья раздражённо дёрнула край покрывала.

— Государю не одна красота нужна.

— А что?

— С ней он весёлый. Она пляшет, смеётся, не спрашивает, когда вернётся домой.

— Не напоминает о сыне.

— Что Евдокия делала, когда он ехал к ней?

— Плакала. Бывало, при нём. Просила остаться.

Василиса закрыла глаза. Она не осуждала женщину, чьё тело носила. Евдокия пыталась удержать мужа теми средствами, которые у неё были. Только каждое слово о доме делало Немецкую слободу свободнее, а каждая слеза превращала Анну в женщину, рядом с которой ничего не требовали.

— Что станете делать, когда увидите её? — спросила Аксинья.

— Поздоровуюсь.

— И всё?

— Могу похвалить платье.

— Государыня!

— Предлагаешь ударить?

По лицу Аксиньи было видно, что этот вариант она не считает окончательно неприличным.

— Она спит с вашим мужем.

— Обязан мне муж, не она.

— Он государь.

— Значит, спросить с него труднее. Но виноватой от этого не становится одна Анна.

Аксинья закрепила последнюю булавку. Остриё царапнуло кожу возле уха, и Василиса вздрогнула.

— Больно?

— Немного.

— Потерпите.

Она не поняла, относилось это к булавке или ко всему вечеру.

В Немецкой слободе окна были шире. Через них на снег ложились длинные полосы света, а внутри домов можно было разглядеть людей. В Москве окна чаще словно прятали жизнь; здесь её выставляли напоказ. Возле дома Лефорта стояли сани, на оглобле одной из упряжек висел латунный фонарь, у входа слуга стряхивал снег щёткой с длинной ручкой, а не веником. Всего несколько деталей — и уже другой мир.

Лефорт встретил Василису на крыльце. Днём на нём был военный кафтан, теперь — светлый камзол, белый шейный платок и кольцо с тёмным камнем.

— Государыня оказала моему дому великую честь.

— Надеюсь, ваши писцы окажут мне такую же и принесут прежние записи.

— Уже работают.

— Во время ужина?

— У меня хорошо работают те, кого хорошо кормят.

Он подал ей руку.

В зале пахло воском, запечённым мясом и вином. На столе лежали небольшие двузубые вилки, которые несколько русских гостей разглядывали с тем же подозрением, с каким Василиса утром изучала роспись. Возле жареной птицы белели дольки лимона — среди московской зимы почти неприличная роскошь.

— Через Архангельск привезли, — пояснил Лефорт.

— Дорого?

— Настолько, что вкус обязан быть хорошим.

— Удобное правило для иностранных товаров.

Пётр уже был в зале. Кубок в его руке оказался наполовину пуст: первый тост начался без неё.

— Всё-таки приехала.

— Я сказала, что приеду.

Он оглядел её с головы до ног и остановился на кике.

— Опять в этом сооружении?

— Оно называется кика.

— Я знаю.

— Тогда зачем спрашиваете?

— Хочу понять, зачем носить вещь, от которой голова становится выше, а женщина злее.

— Возможно, одно служит другому.

Пётр усмехнулся и протянул руку. Василиса положила пальцы на его ладонь — и тело узнало прикосновение раньше памяти. Ладонь была горячее, на большом пальце виднелся свежий порез. Пётр сжал её руку чуть сильнее, проводя между гостями, и посадил рядом с собой. Не напротив.

Лефорт занял место с другой стороны. Василиса оказалась между мужем и человеком, создавшим для него отдельную жизнь.

Гости поднимались, кланялись, называли имена: офицеры, торговцы, мастера, их жёны и дочери. Одни были знакомы по вчерашнему двору, других она впервые видела так близко. Лефорт представлял людей не подряд: сначала тех, кого царица обязана была знать, потом тех, кого Пётр считал нужными, а затем тех, чьё присутствие в мужском доме следовало объяснить. Московские женщины кланялись низко и тяжело, иностранки делали лёгкий реверанс.

Анну он оставил напоследок.

Блондинка стояла у окна.

— Анна Ивановна Монс.

Она подошла, и Василиса сразу поняла, что опасность не только в красоте. Светлые волосы не скрывало покрывало, серо-голубое платье оставляло шею открытой, а двигалась Анна свободно, не проверяя каждый жест по невидимому дворцовому уставу. Она была здесь своей. Василиса же чувствовала, как булавка под кикой царапает кожу при каждом повороте головы.

— Государыня, — произнесла Анна и присела.

— Анна Ивановна.

Все присутствующие старательно изображали, что в их встрече нет ничего особенного.

— Я много слышала о вас, — сказала Анна.

— Вероятно, больше, чем я о вас.

Пётр на мгновение перестал улыбаться. Лефорт не вмешался, но слушал слишком внимательно. Первое неверное слово — и перед ними снова окажется прежняя Евдокия: ревнивая жена, требующая вернуть мужа домой.

— В слободе новости расходятся быстро, — ответила Анна.

— В Кремле тоже. Только там их передают шёпотом.

Меншиков подавился вином. Анна улыбнулась.

— Надеюсь, сегодня вы услышите о нас что-нибудь хорошее.

— Уже увидела лимоны зимой и вилки с двумя зубьями. Ваш мир умеет удивлять.

— Пользуетесь вилок?

— Узнаю к концу ужина.

Анна рассмеялась, и напряжение за столом чуть ослабло. Пётр тоже усмехнулся.

За государя выпили до появления горячего, потом — за русское оружие, за мастеров и за русских учеников. Кубки наполняли быстрее, чем люди успевали поставить их на стол. Василиса только пригубляла: после болезни вино почти сразу ударило в голову.

Пётр пил быстро. Лефорт однажды потянулся к его кубку, но тот забрал кувшин и налил себе сам. Он прекрасно видел, сколько пьёт, и выбирал это сам.

— Не нравится? — спросил он Василису.

— Нравится.

— Почему не пьёшь?

— Хочу помнить, о чём договоримся.

— Пить не умеешь?

— Умею.

— Тогда покажи.

Лефорт поднял ладонь, будто собирался примирить спор ещё до его начала.

— Государыня после болезни, мин херц. Женскому телу мужской кубок тяжёл.

Ловушка была изящной. Откажется — останется слабой женщиной, которой нечего делать среди государственных мужчин. Выпьет — примет правила этого дома.

Василиса подняла кубок.

— Франц Яковлевич прав. Женское тело устроено иначе.

Хозяин дома немного расслабился.

— Поэтому мне понадобится меньше вина, чтобы заметить больше мужских глупостей.

Первым расхохотался Меншиков, следом Пётр. Анна прикрыла улыбку пальцами.

Василиса поднялась. Кика потянула голову назад, булавка снова впилась в кожу.

— За Франца Яковлевича. Он первым доказал, что красивую роспись полезно проверять.

Лефорт улыбался: отказаться от тоста в собственную честь было невозможно.

— За проверку, — произнёс он.

— За точность, — сказала Василиса.

— Утром была правда, — заметил Пётр.

— До пятого тоста я решила просить меньше.

Это действительно был пятый тост. Она выпила до дна, вино обожгло горло.

Лефорт первым поставил кубок.

— И что же мы сейчас подтвердили?

Он не позволил ей просто объявить решение перед его гостями. Правильно: это был его дом и его люди.

— Что послезавтра проверим двенадцать следующих имён и одну работу ученика без подсказки.

— Завтра, — сказал Пётр.

— Завтра после этого ужина проверять людей будет жестоко.

— Думаешь, я напьюсь?

— Думаю, вы уже стараетесь.

Несколько разговоров вокруг оборвались. Пётр прищурился, но Лефорт успел вмешаться:

— Послезавтра. Завтра соберём записи и предупредим мастера.

— Предупредите?

— Он должен выбрать работу, которую можно испортить без большого убытка.

Снова разумно — и снова удобно мастеру.

— Работу выберет мастер. Помощника выберем мы.

— Я выберу, — поправил Пётр.

Он не отдавал ей проверку целиком и не собирался.

— Хорошо.

— Что хорошо?

— Что вы не согласились автоматически.

Пётр рассмеялся и ударил ладонью по столу.

— Послезавтра!

Срок Василиса закрепила, условия — нет. Но это уже было не маленькое решение, а право продолжить спор.

После пятого тоста разговоры стали громче. Пётр пил быстро и почти не ел; на его тарелке остывал кусок жареного мяса, по краю белела застывающая плёнка жира.

— Закусите, — сказала Василиса.

— Следишь за мной?

— Сиж рядом.

— Не голоден.

— Тогда оставьте мясо. Но завтра не говорите, что голова болит от государственных дел.

— У меня не болит.

— Сегодня ещё не завтра.

Пётр отодвинул тарелку.

— Не нянька мне.

— И не собиралась.

— Тогда не начинай.

Он продолжил пить. И, пожалуй, это было честнее любой красивой сцены: одна новая жена не могла за ужином исправить привычку, которую годами поддерживал весь его круг.

Позже Пётр сам взял хлеб — не после её слов, а после того, как слишком быстро поднялся и на мгновение ухватился за край стола. Василиса промолчала.

Лефорт заметил.

— Государыня учится не повторять совет?

— Государыня учится не тратить хороший совет дважды на человека, который первый не услышал.

— Я слышал, — бросил Пётр.

— Тем лучше.

— И что теперь?

— Ничего. Вы выбрали сами.

Он отломил ещё хлеба. Не уступка — скорее желание доказать, что решение принадлежит ему.

Анна почти не вмешивалась в мужские споры. Иногда переводила иностранные слова, иногда смеялась. Несколько раз она едва заметно менялась в лице, и Пётр каждый раз замечал. У них был свой язык — привычный, отработанный, не требующий объяснений. Когда-то такой язык существовал у Петрушки и Дуньки.

Ревность пришла не вспышкой, а странным ощущением человека, который вернулся в собственный дом и увидел, что мебель давно переставили без него.

Анна отодвинула стул.

— Государыня, здесь душно. Позвольте показать садовую комнату?

— Показывайте.

Садовая комната оказалась маленькой. В кадках стояли голые ветви, на стёклах замёрзли узоры. Анна прикрыла дверь, и музыка из зала сразу стала глуше, словно играли под водой.

— Здесь легче дышать.

— На пирах Франца Яковлевича всегда много людей.

— И вина.

— Государь любит веселье.

— Я заметила.

Анна задержалась возле неё, всматриваясь в висок.

— У вас кровь.

Василиса коснулась кожи. Пальцы окрасились красным.

— Булавка.

— Позвольте.

Она подошла ближе. Василиса напряглась, но не отступила. Пальцы Анны осторожно нащупали крепление под покрывалом, вынули одну булавку и закрепили ткань чуть выше. Боль сразу ослабла.

— Кика не упадёт?

— Не должна. Я однажды помогала одевать жену немецкого купца для приёма в Кремле. Половина московской одежды держится на терпении и страхе уронить её при людях.

Анна достала чистый платок и протянула Василисе.

— Прижмите.

Помощь была маленькой, почти смешной, но Анне не требовалось её оказывать.

— Спасибо.

— Если вы вернётесь с кровью на виске, все решат, что я вас ударила.

— Значит, спасаете собственную репутацию?

— В том числе.

Вот это Василиса понимала.

— Вы хорошо знали прежнюю государыню?

— Лично нет.

— Но знаете, что она бранила Петра за пиры.

— Государь рассказывал.

Василиса сильнее прижала платок. Пётр обсуждал с Анной жену: слёзы, просьбы, семейные ссоры — всё то, что Евдокия считала личным.

— Надеюсь, не слишком подробно.

— Мужчины редко говорят о женщинах подробно, — сказала Анна. — Обычно только то, что оправдывает их самих.

Ответ оказался неожиданным.

— Вы не всему верили?

— Верю тому, что вижу.

— И что видите сейчас?

Анна не торопилась.

— Другую женщину.

— После горячки люди меняются.

— Не настолько.

— Вы разочарованы?

— Напугана.

Сказано было без кокетства.

— Мной?

— Прежняя Евдокия хотела вернуть государя домой. Вы приехали сюда сами.

— Это опаснее?

— Для меня да.

Она не спрятала смысл, и Василиса оценила это почти против воли.

— Пётр вас любит.

Анна повернулась к замёрзшему окну.

— Сегодня.

— Неуверенный ответ для женщины, к которой он ездит не первый год.

— Государь любит всё, что его удивляет: новый корабль, новую пушку, нового человека.

— Поэтому вы стараетесь удивлять?

— А вы?

Удар вернулся неожиданно точно. Василиса тоже пыталась стать для Петра новой — не плачущей женой, а полезным человеком. Разница между ними оказалась неприятно небольшой.

— Вы хотите вернуть его? — спросила Анна.

— Он не вещь.

— Красивый ответ.

— За красивыми ответами я сегодня уже проверяла людей.

— Тогда правдивый?

Василиса немного помолчала.

— Я не знаю, чего хочу от него как женщина.

— А как государыня?

— Чтобы он не мог выбросить меня из своей жизни, не повредив собственным делам.

— Вот это правдивее.

— Теперь ваш ответ.

— Я хочу, чтобы он приезжал.

— И больше ничего?

— Больше хотеть опасно.

Василиса почувствовала неожиданную жалость — не добрую, а слишком похожую на узнавание.

— Тогда зачем вы здесь? — спросила Анна.

— Работать.

— Работа для государя важнее отдыха.

— Вот и я так думаю.

Анна усмехнулась.

— Но спит он не в мастерской.

Лицо Василисы стало горячим, и Анна сразу заметила.

— Простите. Это было грубо.

— Зато правдиво.

Ни дружбы, ни примирения между ними не возникло. Только короткое понимание: каждая видела в другой угрозу, но ни одна не собиралась устраивать представление для мужчин за дверью.

Дверь распахнулась. На пороге стоял Пётр с кубком в руке; на щеках выступил винный румянец, верхняя застёжка кафтана была расстёгнута.

— Заговор составляете?

— Обсуждаем государя, — сказала Анна.

— Без меня?

— При вас было бы менее правдиво, — ответила Василиса.

Он рассмеялся.

— И что решили?

— Что вами трудно управлять.

Анна на мгновение замешкалась и добавила:

— Но многие пытаются.

— И кто лучше?

Анна опустила глаза. Василиса ответила первой:

— Пока вино.

Улыбка исчезла с его лица.

— Что?

— Оно заставило вас бросить разговор и пойти искать двух женщин.

— Опять учишь?

— Наблюдаю.

— Наблюдай молча.

Тело сжалось раньше, чем Василиса успела рассердиться: Евдокия уже слышала этот тон. Промолчать было бы разумнее.

— Хорошо, государь.

Получилось слишком холодно.

— Обиделась?

— Вы велели молчать.

— Не велел.

— Вы почти всегда говорите так, будто приказываете.

Пётр шагнул ближе.

— Потому что я царь.

— Даже здесь?

— Везде.

— Должно быть, утомительно.

— Для кого?

— Пока для всех, кроме вас.

Она сама услышала, что зашла дальше, чем собиралась. Из зала донёсся голос Лефорта:

— Мин херц! Государя ждут!

Пётр обернулся, и напряжение оборвалось.

— Идём, Анхен.

Он протянул руку Анне. Не жене.

Анна замешкалась всего на одно дыхание. Перед тем как вложить пальцы в ладонь Петра, забрала у Василисы окровавленный платок и сунула ей чистый.

Почти извинение. И почти вызов.

Они вышли. Василиса осталась у замёрзшего окна. Кика больше не резала висок, и от этого унижение ощущалось только яснее.

В зале Пётр танцевал с Анной. Двигался тяжело и резко, но она легко подстраивалась; когда он сбивался, смеялась, будто ошибка была частью танца.

Лефорт встретил Василису возле стола.

— Государыня отдохнула?

— Немного.

— Анна Ивановна приятная собеседница.

— Очень.

— Рад, что вы нашли общий язык.

— Вы рассчитывали на другое?

— Я рассчитывал, что две умные женщины не станут ссориться из-за мужчины.

— Особенно когда ссора развлечёт половину Москвы?

Он предложил ей наполненный бокал. Василиса не взяла.

— Больше не пьёте?

— Пятый гост уже был.

— У меня редко останавливаются на пяти.

— Я заметила.

Лефорт отпил и проследил за тем, как Пётр снова забрал у слуги кувшин.

— Вы считаете, я дурно влияю на государя.

— Когда речь о кораблях, мастерах и офицерах, вы ему помогаете.

— А когда о вине?

— Создаёте место, где ему удобно пить.

— Но кубок он держит сам.

— Именно.

На секунду между ними установилось почти согласие.

— Чего же вы хотите от меня? — спросил Лефорт.

— Чтобы утром ваши бумаги не ввали о тридцати семи учениках.

Улыбка стала тоньше.

— Вы думаете, я велел Келлеру приписать людей?

— Не знаю.

— Но подозреваете.

— Подозреваю, что красивое число вас не огорчило.

— Это не одно и то же.

— Знаю.

Лефорт немного помолчал, затем заговорил уже без прежней лёгкости:

— Роспись составляли ночью. Мастеров спрашивали через разных толмачей. Одни называли учениками помощников, другие — всех русских при мастерской. Келлер свёл ответы одним словом.

— А вы не проверили.

— Не успел.

— Или не захотели задерживать хороший результат.

— Возможно.

Признание было слишком малым, чтобы назвать его виноватым, и достаточно большим, чтобы не считать глупцом.

— Вы опасная женщина, — добавил он.

— Потому что спрашиваю?

— Потому что оставляете человеку место для правды, но не позволяете спрятаться в нём целиком.

— Это похвала?

— Предупреждение.

Пётр потребовал ещё один тост. Разговор закончился сам собой.

Ближе к полуночи Акси́нья нашла Василису в передней. Служанка держала шубу; на мех уже успели лечь снежинки, занесённые через открытую дверь.

— Сани готовы.

— Из Кремля была весть?

— Царевич долго не спал. Записку держал при себе. Потом уснул.

Василиса прикрыла глаза.

— Государь едет?

Акси́нья не ответила сразу.

— Остаётся?

— Франц Яковлевич велел приготовить покои.

— А Анна Ивановна?

— Ещё здесь.

Кика вдруг стала невыносимо тяжёлой, хотя Анна ослабила булавку. Хотелось сорвать её перед гостями и швырнуть на пол вместе со всем достоинством русской царицы.

Вместо этого Василиса надела шубу и вернулась в зал.

Пётр сидел за столом с расстёгнутыми верхними застёжками кафтана; волосы упали на лоб. Рядом были Лефорт, Меншиков и несколько офицеров. Анна стояла у камина.

— Я возвращаюсь в Кремль, — сказала Василиса.

Пётр оторвался от разговора и поднял голову.

— Зачем?

— Алексей ждёт.

— Ночью поедешь?

— С охраной.

— Оставайся.

Одно слово, и Василиса не смогла понять, было это приказом или просьбой.

— Вы тоже останетесь?

— Останусь.

Она невольно повернула голову к Анне. Всего на мгновение — но Пётр заметил.

— Тогда я уеду.

Он медленно поставил кубок.

— Из-за неё?

Правда стояла у горла: да. Она не станет лежать в соседней комнате, слушая шаги мужа в коридоре, и не хочет утром встретить Анну с распущенными волосами. Но Лефорт ждал сцены. Василиса не собиралась дарить её ему.

— Утром я сказала сыну, что постараюсь вернуться. Потом заставила его ждать весь день. Сегодня он проснётся и увидит меня.

— Я его отец. Велю спать.

— Он уже спит.

— Тогда чего торопишься?

— Чтобы утром не объяснять, почему снова выбрала ваш двор вместо него.

— Я велел работать.

— Работу я продолжу завтра.

— А ежели не пушу?

Пьяный Пётр проверял уже не дело. Её.

— Тогда останусь по приказу. Но вы будете знать, кого именно удержали здесь.

Меншиков перестал улыбаться. Пётр встал и совсем немного покачнулся.

- Домой собралась — ступай.
- Утром вернусь к росписям.
- Возвращайся, коли не передумаешь.
- Не передумаю.

Василиса поклонилась.

- Доброй ночи, государь.

Он не ответил. Анна у камина не двигалась, Лефорт вдруг заинтересовался собственным бокалом, а Меншиков впервые за весь вечер казался старше своих лет.

В санях Аксинья сняла с Василисы кикю. Несколько прядей запутались в креплениях, на виске снова выступила кровь. Аксинья промокнула её платком.

- Анна Ивановна булавку иначе поставила, — заметила она.
- Чтобы я не вернулась в зал окровавленной.
- Могла оставить.
- Могла.

За окнами Немецкой слободы продолжали гореть огни. В одном доме играла музыка, по снегу перебежали тени.

- Плакать будете? — спросила Аксинья.
- Возможно.
- Я никому не скажу.
- Спасибо.
- Волосы ей выдрать всё ещё можно.

Василиса неожиданно рассмеялась. Смех сорвался и перешёл в слёзы. Она закрыла лицо руками, не понимая, сколько в них было от Евдокии, а сколько от неё самой: унижение перед чужими людьми, рука Петра, протянутая другой женщине, память о матери, чей голос уже иногда приходилось восстанавливать по отдельным словам, и Алексей, уснувший с её запиской под подушкой.

Аксинья пересела ближе и молча позволила Василисе положить голову ей на плечо.

Сани тронулись.

Утром она вернётся к росписям. Уехать к сыну не значило отказаться от работы. За спиной оставались музыка, светлые окна и Пётр, который утром дал жене настоящее дело, а вечером напомнил, какое место она занимает в его жизни.

В бумагах Василиса получила право на следующую проверку. За пятым тостом ей показали цену даже такой маленькой победы.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ. Чужие слова

Алексей уснул, не дождавшись её.

Василиса поняла это ещё в переходе между палатами. За дверью детской было непривычно тихо: обычно в это время оттуда доносились шаги нянек, шёпот служанок и настойчивый голос царевича, который находил десяток причин не ложиться спать.

Она вошла осторожно.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.